Литературный Азербайджан

ИЗДАЁТСЯ
с 1931 года

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ
УЧРЕДИТЕЛЬ - СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНА

№ 6

2019

СОДЕРЖАНИЕ:

ПРОЗА

Натиг РАСУЛЗАДЕ. *Рассказы* 10
Нариман АБДУЛРАХМАНЛЫ. *Рассказы* 49
Ляман БАГИРОВА. *Рассказы* 80
Геня ЩИРИН. *Рассказы* 126

ПОЭЗИЯ

Елизавета КАСУМОВА. *Стихи* 39
Алина ТАЛЫБОВА. *Хокку* 76
Тамара ВЕРЕСКУНОВА. *Стихи* 122

ПУБЛИЦИСТИКА

Эльмира АХУНДОВА. **Полвека в пути** 3
Ибрагим МЕЛИКОВ. **Философский смысл творчества Насими** 45
Агаддин БАБАЕВ. **Музей, не имеющий аналогов в мире** 115
Юрий МАМЕДОВ. **Итальянские этюды** 117

Главный редактор – **Солмаз ИБРАГИМОВА**

Зам.главного редактора – **Елизавета КАСУМОВА**
Ответственный секретарь – **Эльдар ШАРИФОВ-СЕЙШЕЛЬСКИЙ**
Отдел прозы – **Надир АГАСИЕВ**
Отдел поэзии – **Алина ТАЛЫБОВА**
Отдел подписки и рекламы – **Джамиля ШАРИФОВА тел: (055) 846-98-49**
Литсотрудники – **Ниджат МАМЕДОВ, Егана МУСТАФАЕВА, Натаван ХАЛИЛОВА**
Корректор – **Анна КУЗЁМКИНА**

Редакционная коллегия: ***Почетный аксакал «Л.А.» Сиявуш МАМЕДЗАДЕ,*** **Кямаля АГАЕВА, Эльмира АХУНДОВА, Агиль ГАДЖИЕВ, Асиф ГАДЖИЕВ, Шелаля ГАСАНЛИ, Александр ГРИЧ (Лос-Анджелес, США), Динара КАРАКМАЗЛИ, Азер МУСТАФАЗАДЕ, Эльчин ШЫХЛЫ**

Литконсультант – **Натиг РАСУЛЗАДЕ**

Журнал зарегистрирован 19.04.96 г. в Министерстве печати и информации Азербайджанской Республики
Регистр. № 352

Адрес редакции:
AZ 1000, Баку, ул.Хагани, 53
Электронный адрес: litaz1931@gmail.com
Тел: 493-75-81

Сдано в печать 20.05.2019г.
Бумага офсетная. Формат 70x100 1/16
Печать офсетная, 8.25 печ. л.
Тираж 400
Отпечатано в типографии «OL» NKPT MMC
Тел.: 497-36-23
Адрес: ул. Мирзы Ибрагимова, 43

ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКАХ ССЫЛКА НА ЖУРНАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНА

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
В публикуемые материалы редакция вносит необходимую правку.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «OL» NKPT MMC

© «Литературный Азербайджан», 2019 г.

НАТИГ РАСУЛЗАДЕ – 70

ЭЛЬМИРА АХУНДОВА

ПОЛВЕКА В ПУТИ

Он пришел в литературу почти полвека назад. Вернее, не пришел даже, а ворвался, несмотря на то, что в Азербайджане к тому времени правили бал такие «тяжеловесы» из молодых, как Эльчин, Анар, Акрам Айлисли.

Однако Натиг Расулзаде, только недавно окончивший знаменитый Литературный институт имени М.Горького в Москве и вернувшийся на родину, как-то очень деликатно и вместе с тем уверенно занял свою место на литературном небосклоне. Его рассказы и повести с удовольствием печатали «толстые» журналы самой большой и самой читающей в мире страны, отзывы о его творчестве звучали из уст маститых советских литераторов. Вот, к примеру, некоторые из них:

«Вы, Натиг, владеете языком, пожалуй, лучше иных наших писателей, которые не удосуживаются расширять свой словарный запас» (В.Катаев), «Прочитал твою повесть, можно сказать, одним духом… Лаконичный и в то же время образный язык, живые, рельефно выписанные герои» (А.Иванов), «Крепкая драматургия и яркая образность языка отличают творчество этого молодого писателя» (Вл.Лидин).

Полвека назад Натиг Расулзаде пришел в литературу с мальчишеским задором победителя и твердым намерением не изменять любимому делу никогда. Это было очень трудно, в иные времена почти невозможно, но Натиг был и остается однолюбом. И надо заметить, что любовь эта оказалась взаимной, во всяком случае, по числу вышедших книг, литературных премий, а главное – по степени популярности у современного читателя Натига Расулзаде вполне можно считать состоявшимся прозаиком.

В разное время я написала несколько рецензий на его книги: «Ловушка», «Островок», «Дом», «Гольфстрим», «Хонхары», «Псих» – все эти книги и вошедшие в них произведения рецензировались мной достаточно подробно. Сейчас же я постараюсь подытожить некоторые свои впечатления от некогда прочитанного.

Одна из заветных тем Натига – это, конечно, бессмертная тема любви, хотя умиротворенные лирические мотивы и счастливые концовки – не родня его прозе. Его любовные рассказы тяжелы, как сама жизнь. Это любовь без счастливого конца. Любовь двоих в рассказах Натига почти всегда оканчивается трагически: или смертью мужчины, или гибелью женщины. Или расставанием, что тоже сродни смерти.

Вместе с тем, любовь у Натига – самое прекрасное чувство на свете, позволяющее сносить тяготы жизни, не замечать окружающей тебя несправедливости, переносить физические страдания. А когда она – любовь – уходит, жизнь становится пустой и обыденной.

Из беседы с Натигом Расулзаде:

Я*: Любовь у тебя всегда трагична – девушка-утопленница, Амина-кошка, молодая женщина из «Золотой монеты», неизлечимо больная жена героя рассказа «Холодный месяц октябрь», даже любовь солнечного мальчика, дауна Бартоломео… Она всегда обречена. Перед ней всегда непреодолимые препятствия. Это тоже идет от жизненных впечатлений или это принципиальная позиция, убеждение, что именно так и происходит?*

***Натиг**: Как у многих – хоть и нескромно, но это факт – как у многих великих классиков, Физули, Шекспира и других, любовь – это такое огромное чувство, что оно должно поглощать и поглощает истинно любящего и влюбленного, за неё идут на смерть. Большая любовь редко бывает ровной, отполированной даже в жизни, а уж в литературе её необходимо показывать именно с трагической стороны, потому что просто писать о том, как полюбили, поженились, родили детей, состарились и умерли в один день – это скучно. Но это лично мое мнение. Если на человека обрушивается это огромное чувство, он должен не сломаться, выдержать, отринуть все остальное, как говорит молодая девушка в рассказе «Седьмая ночь», молодая, но умудренная любовью, трагически для неё закончившейся.*

Многие герои автора, как и он сам, не приемлют сытости, рвачества, благополучия любой ценой. И потому в силу жестоких жизненных обстоятельств оказываются изгоями, подобно герою одноименной пьесы Натига. Некоторые из них – люди с душой ребенка, пусть даже им уже далеко за 60 или за 70, как например, старик-художник из рассказа «Окно», разрисовавший диковинными птицами и неземной красоты бабочками двери, стены и окна в своем доме, преклоняющийся перед красотой и искренне радующийся таланту коллег. Или вокалист Фазиль из замечательной пьесы «Человек из хора», которого не смогла «перевоспитать» многочисленная мафиозная родня его богатой жены.

Однако, пожалуй, главный враг для писателя – равнодушие. В этом смысле характерен трогательный рассказ «Про ослика, ослика…», который словно перекликается с повестью легендарного французского писателя Антуана Сент-Экзюпери с его знаменитой фразой из «Маленького принца»: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Люди, приручившие ослика, доверившегося им, предают это безропотное, ласковое животное. И оно умирает на безлюдном острове, погибая от людской забывчивости и жестокости. Так же погибает и большинство героев Натига, не сумев приспособиться к жестокости и бессердечию окружающей их действительности. Безграничное одиночество человека, его беспомощность перед вызовами Судьбы – экзистенциальные мотивы, очевидно, навеянные знакомством Натига Расулзаде с великими Кьеркегором, Сартром, Камю. Натиг признается, что сильно увлекался их произведениями в молодости.

Обычные, успешные, состоявшиеся судьбы Натига не интересуют, только люди с чертовщинкой в душе или с червоточинкой, только те, с кем могут происходить нелепые, невероятные вещи («Наваждение»), которые также нередко приводят к трагическому концу. И только тогда, по мнению автора, срываются маски, только на пороге смерти мы постигаем, кто же мы на самом деле и какие роли играли до сих пор. Постижение это приходит слишком поздно, потому что за все ошибки приходится платить и неотвратимый судия уже стоит на пороге, отнимая у тебя самое драгоценное на свете – жизнь.

Элементы фантастики, фантасмагории (повесть «Дом», рассказы «Притяжение», «Брат»), реальные события в сконструированных мышлением художника абсурдных, невероятных обстоятельствах нужны для того, чтобы препарировать, как под микроскопом, и изучить в мельчайших деталях ту или иную сторону человеческой натуры. В этих обстоятельствах его герои проявляют свои лучшие (или худшие) стороны.

Часто герои Натига силой его художественного воображения помещаются в экстремальные ситуации, когда нередко от того, какие качества характера проявит тот или иной герой, зависит вопрос жизни и смерти его самого или близких ему людей. В повести «Дом» герой выбирает смерть, отвергая жизнь-существование, жизнь-имитацию. По мысли автора, обыденность, серость, повседневность убивают талант, искру Божью в человеке. И выход из этой обыденности в бунте, мятеже, пусть даже этот бунт в ре-

зультате приводит к гибели героя.

«Дом», пожалуй, наиболее яркое и наиболее загадочное произведение Натига Расулзаде. Оно не оставляет тебя и после прочтения как назойливая зубная боль, заставляя размышлять и вдумываться в смысл предложенной автором ситуации.

Подлинная литература – многозначна, в ней много нюансов и оттенков, поэтому каждый ищет в прозе Натига те вопросы, ответы на которые хочет найти. Для кого-то «Дом» – это бунт против серости и однообразия бытия, а для кого-то – справедливое наказание за строптивость и гордыню. Герой «Дома» тяготится привычной средой обитания, сбегает от нее и попадает на безлюдный островок, где живут странные, полусумасшедшие люди. Через некоторое время жизнь на островке для него становится невыносимой, и он сбегает вновь, на сей раз обрекая себя на верную смерть. Мораль? Надо ценить то, что ты имеешь, надо ценить каждое мгновение жизни, какой бы тяжкой или однообразной она тебе не казалась, ибо альтернатива ей одна – смерть и, «отвергнув жизнь, неминуемо придешь к смерти».

Натиг часто пишет в жанре абсурда. По словам Натига, одним из самых любимых его писателей является гениальный Кафка. Конечно, не обошлось без влияния великого Гоголя с его фантасмагоричными петербургскими повестями.

Из беседы с Натигом Расулзаде:

Я*: У тебя очень буйная фантазия – мистика, перевоплощения, чертовщина, сон и явь, все перемешано. Чем является для тебя мистика в произведении, чему она служит? Ты часто помещаешь вполне земные, реальные образы в мистические обстоятельства. Для чего?*

Натиг*: Что касается мистики, то этот жанр мне нравится, потому что в какой-то степени это ответ всем «Фомам неверующим». Понимаешь, если в течение всей жизни с нами не происходит ничего непонятного разуму, мистического, небывалого, это не означает, что этого вообще нет в жизни, просто это происходит с кем-то другим. Сам по себе этот жанр очень интересен и востребован среди подготовленных читателей, много мистики и в абсурдной прозе Кафки, у Габриэля Маркеса, у Стивена Кинга. Порой это наводит читателя, вдумчивого, конечно, на мысли, которые никогда не пришли бы ему в голову среди одних только реальных событий.*

Да, действительно, есть художественные произведения, которые одним разумом не понять, их нужно постичь каким-то иным, шестым чувством. Хотя мне, если честно, более импонируют те рассказы Натига, в которых доминирует реалистическое начало. Они тоже грустны, в них рассказывается о вещах отнюдь не радостных, например, «Девушка в красном», в котором создан отвратительнейший образ некоего Агашки. В этом, с позволения сказать, «герое», или антигерое мы на протяжении всего рассказа не сможем обнаружить ничего человеческого. Читая его, я все время с недоумением спрашивала себя, зачем автору понадобилось писать об этой твари такой большой рассказ, практически повесть? Но в том-то и мастерство, в том-то и гениальность (не побоюсь этого слова) рассказчика, что в конце концов Агашка поворачивается к нам самой неожиданной стороной. Его перерождение, его, по сути, второе рождение после тяжелейшего инсульта нам кажется вполне естественным и логичным, не надуманным. И мы вместе с ним (в который раз!) понимаем, что существуют все же на свете вечные ценности, среди которых нет места подлости, стяжательству, неправедно нажитому богатству, раз даже такой конченый человек, как Агашка, это понял, раз даже он сумел найти свою заблудшую душу. Я считаю этот рассказ одним из лучших в сборнике «Псих», потому что в нем автор дарит своим читателям надежду. А без надежды очень трудно жить в этом мире…

При этом произведения Натига Расулзаде начисто лишены какого бы то ни было пафоса, патетики. Они намеренно приглушены, они словно приглашают читателя к размышлению, к сопереживанию, к мучительным раздумьям о том, как мы живем на этой земле и какой оставим на ней след после себя.

Писатель нередко обращается к вопросу о цене славы, успеха, материального благополучия. Тема эта вечная, и вопрос далеко не праздный не только для людей творческих. В рассказе «Спаси и помилуй» писатель после трагической смерти сына внезапно обретает читательское признание, бешеную популярность. Постепенно он привыкает к этой популярности, как привыкаешь к предметам роскоши, он купается в лучах славы. Однако убийственный вопрос жены: «Скажи честно, ты бы отдал все это за то, чтобы сейчас наш мальчик был с нами?» – застает его врасплох. В вопросе заключен великий смысл, ибо нередко ценой бешеной славы и популярности является отказ творческого человека от самого себя, от своей подлинной сущности, от уснувшей могильным сном Совести. Для Натига Расулзаде ответ на этот вопрос звучит однозначно: «…Бог создает человека, человека, а не профессию, – это уже потом все дела и ремесла, многое от лукавого, а человек – от Бога, и что ты за человек, если задумываешься над вопросом жены?».

В унисон теме звучит и признание самого писателя, сделанное ровно десять лет тому назад: «Популярность для писателя необходима, но она не должна длиться долго. Это как детские болезни, через которые надо пройти. Писатель, популярность которого длится слишком долго, в итоге вынужден работать на нее, подогревать ее, стараться всегда быть на виду, на устах у всех, быть в центре всего, короче – жить для популярности. А это неправильно, это – не писательская жизнь, и вообще, это не настоящая жизнь. Писательская жизнь требует глубины, тишины, я бы сказал, келейности. Наступает момент в жизни, когда популярность может разрушить все».

* * *

Не так давно Натиг опубликовал произведение под названием «Гольфстрим». А в подзаголовке обозначил необычный жанр: «Роман-кардиограмма». По-моему, такого жанра в истории азербайджанской (а может, и мировой) литературы еще не было. Если я не права, читатель меня поправит.

Данный подзаголовок ко многому обязывает. Потому что если это кардиограмма, то она должна быть: а) объективна, б) сделана на высоком профессиональном уровне и в) отражать реальное положение вещей. Справился ли Натиг с этой задачей? Думаю, что справился. Хотя в романе сосуществуют, не всегда пересекаясь, два пласта, две параллельные линии – мир детства и мир творчества. Боюсь, что мир творческих исканий Натига Расулзаде, его, так сказать, сокровенная «кухня», куда он допускает читателей, не всем и не всегда будет интересна. Эти куски в романе будут более притягательны для его собратьев по перу, в особенности, для молодых литераторов, недавно пустившимся в свободное плавание по безбрежному океану литературы. Массовому читателю, опять же на мой взгляд, придутся по душе те части «Гольфстрима», где Натиг вспоминает эпизоды из своего послевоенного детства – с разбитыми коленками, уличными баталиями, первой любовью и первыми детскими страхами. В свое время я прочла немало мемуарной литературы о детстве и юности – и наших, и зарубежных авторов. Думаю, что воспоминания Натига Расулзаде выгодно отличаются предельной искренностью, отсутствием глянца – как в описании характеров и портретов самых близких людей, так и в изображении собственных фобий. Читая страницы, где Натиг описывает свои детские страхи, я вспоминала собственные фобии, где также присутствовал страх смерти, например, необъяснимый ужас от мысли, что самый любимый человек на свете, без ко-

торого ты, кажется, и физически существовать не сможешь (для меня это была моя мать), когда-нибудь умрет. И ты встаешь ночами, подходишь к постели матери и прислушиваешься, дышит ли она, не умерла ли… А приступы такой же необъяснимой агрессии и даже ненависти к окружающим в подростковом периоде? Когда кажется, что тебя никто в целом свете не понимает, что все вокруг лживые, двуличные, говорят одно, а делают совершенно другое (так называемый юношеский максимализм, который, к счастью, проходит с годами). И потому ты замыкаешься, уходишь в созданный тобою мир, населенный, в основном, литературными персонажами (во времена мои и Натига отдушиной для подростков служили книги, сейчас они «уходят» в виртуальную реальность Интернета). Натиг вспоминает, как «в детстве, играя в свои одинокие игры, куда я никого не впускал, я разговаривал сам с собой, создавая свой мир фантазии, недоступный и непонятный взрослым». Наверное, многие из нас, те, кто родом из детства, могли бы сказать о себе то же самое...

Конечно, детская, юношеская пора у всех бывает разной. У одних она более счастливая, у других омрачена какими-то тяжелыми обстоятельствами – нищетой, алкоголизмом одного из родителей или ранней смертью кого-то из близких. И все же это «прекрасное далёко» всеми нами вспоминается с одинаковым чувством ностальгии. По словам автора, это тот самый Гольфстрим, то «теплое течение в буднях твоей жизни», которое «с возрастом иссякает или смешивается с холодным, но которое так важно сохранить первозданно теплым».

Судя по Натиговской кардиограмме, ему свой Гольфстрим в душе удалось сохранить в первозданном виде. И это удача для творческого человека, ибо практически все сюжеты и все фобии, гениально воплощенные в мировых бестселлерах, их авторы черпают из впечатлений детства.

* * *

Еще об одном произведении известного азербайджанского прозаика хотелось бы вспомнить. Это роман «Хонхары», на который я в свое время написала рецензию «Между раем и адом». Привлекла внимание необычная, волнующая фабула, благодаря которой произведение читается на одном дыхании и с неослабевающим интересом. Натиг вообще умеет держать читателя в напряжении, и, обратившись к той или иной его вещи, будь то рассказ или повесть, ты вряд ли отложишь книгу, пока не дочитаешь произведение до конца. И это при том, что Натиг не пишет детективов, а его лучшие рассказы и повести даже не с двойным, а с тройным дном, докопаться до которого может лишь особо преданный и подготовленный к чтению серьезной литературы читатель.

На сей раз Расулзаде обратился к теме кровной мести, явлению, увы, широко распространенному на Кавказе и в Закавказье вплоть до наших дней.

В центре повествования – семья хонхаров, выходцев из одноименного квартала в селении Маштага на Абшероне. Повествование начинается с рассказа об одном из предков этой семьи по имени Аганеймат – удачливом и зажиточном рыбаке-маштагинце. Во время революции один из местных бедняков, польстившись на обещание властей получить хороший куш из добра, конфискованного у «кулака», оговорил Аганеймата и предал его. Аганеймата арестовали. Спустя несколько лет его 13-летний сын Алигусейн отомстил обидчику, застрелив того во дворе его собственного дома. Сыновья убитого – Агакерим и Бала – поклялись отомстить Алигусейну. Так началась многолетняя история кровной мести длиною в целый век.

Пожалуй, все в этом романе – и хонхары, и их обидчики – жертвы. Одни из них становятся жертвами обстоятельств, сурового времени, погибают в бою с врагом (как Агакерим и Бала на фронте), жизнь других прерывает пуля или нож кровника.

Герои Натига – хорошие семьянины, они любят своих детей, жалеют жен, почитают матерей. То есть им присуще, в первую очередь, большое чувство любви. И в то же время их снедает чувство мести. Которое в конце концов побеждает, убивая их физически и духовно.

Из беседы с Натигом Расулзаде:

– Как ты пришел к этой теме? Почему «кровная месть»?

– Она меня давно волновала, считаю, что чувство мести невозможно изжить, оно заложено в нас генетически нашими далекими предками. От него невозможно избавиться и чисто психологически. Я не случайно начал свой рассказ с начала XX века, когда это явление было чрезвычайно распространено не только у нас в республике, но и по всему миру. И правоохранительные органы относились к нему как к чему-то естественному.

Сейчас с подобными случаями борются, виновников наказывают, осуждают на длительные сроки. И все же изжить чувство мести невозможно, потому что оно в человеке очень глубоко заложено. Оно такое же огромное, как и чувство любви. Этот роман, в принципе, – история мести и любви, любви, которой не удалось победить, преодолеть месть. В принципе, это чувство знакомо каждому человеку, особенно, как мне кажется, творческой личности. Кто-то нас, к примеру, обидел, и мы в своих мыслях хотим его убить, уничтожить, стереть с лица земли. Чем больше чувство обиды, тем дольше человек носит это в себе. А когда долго носишь какую-то обиду, это действует на психику, и человек начинает жить этим чувством.

«Ударили по левой щеке, подставь обидчику правую» (заповедь Христа) – сделать это может только один человек из ста миллионов. А, в общем, масса людей, обывателей живут этим чувством – обиды, неудовлетворенности, злости. Мало кто винит в собственных бедах себя, чаще – других людей. Потом же, найдя вольного или невольного виновника, мысленно (а порой и физически) мстит ему за свою неудавшуюся жизнь, за неудовлетворенное тщеславие… Кровная месть – наиболее концентрированное выражение этого чувства.

– Почему ты именно сейчас обратился к этой теме?

– Потому что тема эта вечная, и мне странно, что ни один из больших писателей в мировой литературе до сих пор не обратил внимания на нее, не проанализировал ее глубоко.

Несмотря на то, что роман небольшой, он многослойный, и главный смысл заключается в том, что человек постоянно выбирает между добром и злом, между прощением и жаждой отмщения. Все люди разные, но тем не менее чувство мести почти вездесуще. Оно присуще даже маленьким детям, например, пятилетнему ребенку, у которого, например, отняли игрушку, и он хочет отомстить за обиду.

Рецептов я не даю. Просто ставлю вопрос, говорю, что у многих из нас в душе есть это чувство. Не забывайте о нем. Но и не лелейте его, не взращивайте. Вы должны понимать, что ваш выбор – это выбор между Богом и Дьяволом, между Местью и Любовью. Выбирайте сами. В отличие от чувства любви, чувство мести губительно, разрушительно, оно убивает в человеке все человеческое. Я призываю своих читателей помнить об этом.

… В романе «Хонхары» много ярких, колоритных образов, словно бы списанных с натуры, необычайно трогательны женские персонажи, особенно матери хонхаров, которым какой-то злой рок предписал рожать в муках сыновей, растить их в неге и любви, а затем хоронить в пору молодости, сраженных пулей или кинжалом кровника. Сочен и в то же время лапидарен язык романа, в который словно уместился весь XX век с его

революциями, войнами, сменой общественных формаций. В произведении наблюдается смешение стилей – реализм, сюрреализм, постмодернизм, психологическая проза, и это – знак того, что роман создан в русле самых современных тенденций мировой литературы.

* * *

Возвращаясь несколько назад во времени, следует сказать, что творческий путь Натига Расулзаде отнюдь не всегда был отмечен розами. В конце семидесятых годов он создал несколько произведений, посвященных острым социальным проблемам, чем вызвал недовольство высокопоставленных чиновников от культуры. Была, например, в его биографии повесть «Всадник в ночи» о бакинских цеховщиках, ее пристрастно обсуждали в МВД, КГБ. Московские коллеги Натига удивлялись: «Как тебе удалось напечатать такую вещь?». Когда тучи над молодым писателем стали сгущаться, а его книги начали выбрасывать из тематических планов республиканских издательств, в дело вмешался первый секретарь Союза писателей Азербайджана Имран Касумов. Уж не знаю, с кем конкретно из цековских чиновников он разговаривал, однако вскоре Натиг был вызван в кабинет И.Касумова, где ему была фактически дана индульгенция и переданы слова руководителя республики: «Гейдар Алиевич сказал, что произведение Расулзаде написано в духе той борьбы с «теневиками» и взяточниками, которая ведется в республике». Это был фактически карт-бланш, напутствие молодому писателю. После этого в биографии Натига начинается один из самых плодотворных этапов, не случайно в 1984 году он был удостоен престижной всесоюзной премии имени Н.Островского, а спустя несколько лет – премии Комсомола Азербайджана.

Не могу не сказать несколько слов о языке, которым написаны повести и рассказы Натига. Полностью согласна с выдающимся русским писателем Валентином Катаевым, отметившим прекрасное владение молодым азербайджанским писателем «великим и могучим». Владеет он русским языком действительно в совершенстве, а его образные сравнения, эпитеты, меткие характеристики и колоритные описания внешности героев произведений напоминают мне прозу непревзойденного мастера художественных сравнений Юрия Олеши («Зависть», «Три толстяка» и др.).

Думаю, что настоящий писатель никогда не бывает собой доволен. Он вечно сомневается, он находится в постоянном поиске новых горизонтов, новых тем и новых героев. Никогда не слышала, чтобы Натиг Расулзаде говорил о себе местоимением «мы», он всегда был прост, скромен и абсолютно безамбициозен. Об этом же сказал как-то академик Бекир Набиев. При виде Натига, – говорит Бекир муаллим, – я всегда вспоминаю мудрое народное изречение: «Плодоносное дерево не задирает голову».

… Полвека назад писательство стало главной любовью и смыслом жизни Натига Расулзаде. В 1999 году президент независимого Азербайджана Гейдар Алиев высоко оценил эту верность профессии, в 50 лет удостоив Натига звания «Заслуженный деятель искусств Азербайджана», в 2009 году он был награжден орденом «Шохрат». Хочется верить, что и сегодня государственное признание литературных заслуг талантливого азербайджанского прозаика и драматурга не обойдет Натига стороной. Его многоцветная проза, многожанровая драматургия, написанные им сценарии и снятые по его сценариям фильмы в совокупности создают неповторимое и знаковое для азербайджанской культуры явление.

Хочу пожелать своему другу и коллеге, чтобы он никогда не терял одного из самых драгоценных своих качеств: умения понимать человека и сострадать ему. В конце концов, именно понимание и сострадание рождают на свет великие произведения искусства.

НАТИГ РАСУЛЗАДЕ

Рассказы

Учан-су

Дом недалеко от вокзала, и в ночной тишине, когда спишь или работаешь, даже зимой и осенью, сквозь закрытые окна, слышен шум его, специфический шум железной дороги, нечеткий, смытый и будоражащий, умирающие крики поездов, слышны объявления по вокзальному радио, что доносятся невнятным гулом, тревожат, напоминая о многих изъезженных дорогах (которые и толком-то не успел рассмотреть и увидеть, мимо которых и по которым, а чаще – над которыми – проносился стремительно, мало их замечая, запоминая, думая о делах, что предстоят в конечном пункте, в цели, так сказать, следования), а ещё больше напоминая о неведомых дорогах, зовущих, манящих, требующих отбросить все суетное, накопившееся в душе, устремиться прочь от насиженного, опостылевшего…

Дороги.

И когда я слышу поздними вечерами и ночами беспокоящие гулкие вокзальные объявления, я сердито встаю со своего места и захлопываю окно, чтобы можно было спокойно, нормально поработать, покорпеть над компьютером в уютном круге света настольной лампы или же спокойно, нормально поспать, выспаться перед предстоящим трудным днём. Потому что мне уже немало лет. А когда человеку немало лет, он должен стараться всё делать спокойно и нормально, без излишней суеты и нервотрепки. Ну вот, знать-то я это знаю… И то слава Богу. Может, когда-нибудь научусь и следовать своим умным советам.

Когда он умирал (все хочется сказать – помирал, по-стариковски, да к нему не подходит это слово), когда, значит, он умирал – тяжело, жутко – в больнице, он вдруг часа за три до смерти, совершенно для всех нас неожиданно, очнувшись от продолжительного беспамятства, раскрыл глаза и посмотрел вокруг мутным, но становящимся все более осознанным взглядом – наверно, все мы в тот миг предстали перед его больным, до сумасшествия утомленным взором безликой толпой, ждущей необратимого с той долей оставшегося сострадания в душе каждого, насколько оно не было затронуто и порушено равнодушием. Он скользнул по нашей небольшой толпе взглядом и, еле ворочая языком, тяжело промолвил:

– Как все несправедливо устроено на свете… Я всегда думал… что самое изношенное во мне – сердце… А умираю от рака мозга… Мне бы больше подошло нажить себе… рак… сердца. Да где теперь его возьмешь… Тем более, что и нет такой болезни… Впрочем, не знаю… Кончается мое время…

Это была у него самая долгая речь за последние дней десять. Он, притомившись, устало, медленно прикрыл глаза, а открыв их через минуту, так ярко и осознанно глянул на меня, что я чуть было не вздрогнул. Нас-то в палате было человек семь-восемь его друзей, близких. Помню, до этого я все смотрел на одеяло, под которым он лежал, мертвые складки одеяла навели меня на мысль, которая вдруг ожгла, как неожиданная, незаслуженная пощечина; я подумал, тело, что под этими неподвижными, неживыми складками, вскоре будет таким же неживым, неподвижным, не дышащим, ничем не отличающимся от мертвой материи, нечувствительной и бездушной материи одеяла; и человек, который всего лишь несколько минут назад

что-то думал, глубоко чувствовал, боялся смерти и хотел жить, ничем не станет отличаться от безликого, бездушного, того, что в неподвижных складках лежит на нем. На этой мысли, рассеянно посматривая на складки одеяла на умирающем друге моем, я обжегся об его ясный взгляд, устремленный на меня.

– Помнишь?.. – сказал он очень тихо, и только благодаря глубокой, траурной тишине в палате я расслышал его. – Это было лучшее… – сказал он еще с видимым усилием, все более слабеющим голосом.

Я не мог сообразить, о чем он, не мог сразу понять, что именно он хочет, чтобы я вспомнил, но машинально, поспешно закивал, как мне казалось, успокаивающе.

Он устало, утомленный до крайности, откинулся на подушку.

– Вы бы его домой забрали, – шепотом посоветовал врач за нашими спинами. – Что уж теперь…

… Через день мы его хоронили. На кладбище я вдруг отчетливо, до мелочей, вспомнил нашу совместную поездку в Крым, когда он, почти пятидесятилетний отец семейства, был безнадежно, по-мальчишески влюблен в девушку из санатория. Она была значительно моложе его, лет под тридцать на вид, но уже успела приобрести какие-то болячки, которые и лечила в санатории более или менее успешно. С Рамизом, моим умершим другом, в то время они съезжались летом уже в девятый или десятый раз, и отношения их давно переросли в отношения старых любовников, понимающих друг друга с полуслова. И, вспоминая нашу совместную поездку, я подумал – а не это ли он имел в виду, когда задал мне свой вопрос в больнице?..

Мы втроем – я, Рамиз и его девушка – поехали как-то развеяться, гульнуть и заодно отвлечь ее от санаторной скуки и от однообразных развлечений крикливого и потасканного массовика. Решили поехать в ресторан, хорошо знакомый Рамизу. Ресторан оказался с неожиданно красивым названием; теперь, кажется, название переменили уже, непонятно зачем. Учан-су. Так назывался ресторан. Простое и красивое название, непретенциозное и непритязательное, как имя Лиля, как характер санаторной Лили, которую любил мой друг и которая в самом деле была довольно милой и некокетливой простушкой, из тех девушек, у кого слова и мысли не задерживаются в голове, а придя в голову, тут же просятся на язык, на волю. Что она и делала довольно успешно, но в чем ни на самую малость нельзя было угадать примитивности характера, а скорее были в этом открытость, распахнутость души, вера в то, что все поймут, как надо понять. Мне эта черта в ней показалась симпатичной, и я немного даже, помню, позавидовал Рамизу. Но в тот вечер между ними неожиданно, пока мы ехали в ресторан, вышел разлад, она дулась на него за что-то, он был вне себя от того, что не мог ничего поделать, чтобы возвратить себе ее расположение и, думаю, заодно – свое душевное равновесие, был вне себя и тихо кипел, но держал себя в руках, что, было заметно, стоило ему усилий. От всей этой мути у меня тоже, естественно, подпортилось настроение. Вот в такой ситуации я оказался сидящим между ними за столиком в ресторане, куда мы приехали позже обеда, но раньше ужина, так что посетителей в зале было немного: единственное после названия, что мне здесь по-настоящему понравилось. В углу зала на раскоряке-тумбочке стоял старинный, уже вполне экзотический граммофон с трубой в виде лепестков татуированного медными узорами гигантского колокольчика. Помню, официант на мою просьбу включить, а вернее было бы сказать – завести, чтобы хоть как-то снять общее напряжение за столом, почему-то неопределенно и неприятно поморщился. Я не понял, в чем дело.

– Иглы нет, – неохотно пояснил официант и пошел за нашим заказом.

– Дать ему надо, вот что, – хмуро пояснил Рамиз. – Тогда и игла появится.

И когда официант возник у нашего столика, неся закуску на вульгарном пластмассовом подносе, при одном взгляде на который мог пропасть аппетит даже у волка, я намеренно грубо сунул в карман ему мелкую купюру и сказал:

– Найди иглу и включи граммофон.

Что он и сделал моментально. Я, однако, был разочарован. При виде старого граммофона я невольно настроился на старомодный лад, так сказать, лад-ретро и думал, что из граммофона тотчас польются песни шестидесятых, сентиментальные, мелодичные и наивные, и никак не ожидал модного шлягера. Пришлось послушать, но это уже внесло диссонанс в мое и без того далеко не превосходное настроение. А тут еще этих за столиком ублажай и мири. Никто, конечно, меня не заставлял делать это, но что же мне было сидеть истуканом, видя, как все больше сгущаются тучи над нашим тоскливым пиршеством? Приходилось балансировать между ним и ею, было это довольно трудно, потому что Лилю я почти не знал, а ее тоже надо было поддерживать, ободрять, не то крен в сторону друга был бы налицо, и в ее глазах я бы не справился с ролью миротворца, добровольно взятой на себя. Когда иссякли у меня более или менее убедительные доводы в защиту той или иной стороны, я не очень-то, к сожалению, оригинально стал встревать в тихую и спокойную, но тем не менее вполне ощутимо напряженную перепалку. «Да будет вам, – вставлял я то и дело. – Да перестаньте, ребята, отвлекитесь. Да не заостряйте вы…» Ну и все прочее в том же духе. Потом вдруг наступила тишина за нашим столиком, как на собраниях перед выступлением очередного оратора, пока он там на трибуне нацепляет на нос очки и шуршит листочками; и тут как раз заговорила Лиля, и с первой же ее фразы стало ясно, что этот текст явно не для меня, в какой-то степени – постороннего, что она решила брать быка за рога, нисколько не смущаясь такой мелочью, как мое присутствие за столом.

– Да, – сказала она, как обычно негромко, но с явно слышимым вызовом в голосе. – Я не могу родить. Ну и что же? Не думаю, что когда люди влюбляются, они должны просить друг у друга медицинскую справку о способности к деторождению…

– Что ты такое городишь? – перебил ее Рамиз, поморщившись и кинув быстрый взгляд в мою сторону, чтобы узнать, как я реагирую. Я молча, глубокомысленно жевал, опустив глаза и изо всех сил стараясь показать, что все мои умственные способности сосредоточены на этом процессе – пережевывании пищи.

– Я правильно горожу, – тихо, но напористо настаивала Лиля. – Десять лет ты уверяешь меня, что дышать без меня не можешь, что задыхаешься в своем городе, в своей семье. И что же? Разве не легче исправить ошибку даже в твоем возрасте, чем жить, все время мучаясь? Я тоже люблю тебя не меньше. А в итоге мы и дальше должны встречаться тут по три недели в году. Три недели в году… – с горечью такой отчетливой, что у меня защемило сердце, повторила она. – Оба мы непонятно почему должны страдать… Нет, понятно. Из-за твоей инертности, из-за твоего нежелания что-нибудь изменить…

Я не верил своим ушам. Хоть мы с Лилькой и подружились быстро (кстати, она сама, представляясь, так назвала себя, а когда я несколько неуклюже и нудно стал уточнять, почему именно так, пояснила с улыбкой – чтобы сама себе девчонкой казалась, а не старухой, ну тут я, естественно, рассыпался в комплиментах, что, мол, рано ей о старости думать и что она и есть девчонка, так что Рамиз, слушавший нас

с постепенно сползавшей с лица улыбкой, по-моему, стал ощущать себя рядом с Лилькой глубоким стариком, чего она, как я потом понял, и добивалась – позлить его хотела), так вот, хоть мы и подружились с Лилькой почти с первой же встречи, и оба были достаточно коммуникабельны и контактны, я все же впервые слышал, чтобы подобные вещи можно было бы так просто произносить за ресторанным столиком, посреди постепенно заполняющегося зала, произносить так просто, серьезно, даже не сердито, а как-то больше с утомленностью, со сдерживаемой болью. Это меня поразило, как и вообще вся манера поведения Лильки, как все, что она говорила. Это было симпатично, и я проникался к простодушной Лиле, оказавшейся, вопреки моему первому впечатлению, не такой уж и простушкой, искренним уважением.

– Всё не так просто, как тебе кажется, – вяло изрёк Рамиз, и, по-моему, ему самому стало стыдно за столь избитые слова.

– Да? Хотелось бы верить, что на самом деле все не так просто, – сказала Лиля. – Но… Должна тебе признаться: мне все надоело…

– А что именно? – стал уточнять Рамиз.

– А именно то, что мы, как воры какие-то, договариваемся провести здесь, в Ялте, вместе отпуска, что прячемся от твоих бакинских друзей, что…

– Но ведь… – перебил её Рамиз и не договорил, сделав робкий жест в мою сторону, долженствующий, видимо, опровергнуть ее столь категоричное заявление насчет друзей, но был перебит в свою очередь.

– И потом я скажу тебе вот что: мы больше не должны встречаться, нам не надо больше видеться. Да. Надо расстаться. Поверь, мне нелегко говорить это, но дальше жить так нельзя, нельзя, нельзя, нельзя…

Шлягер на пластинке давно закончился, и эта ее фраза удивительно мягко и естественно легла на старенькую мелодичную песню Битлз. Пластинка, видимо, представляла собой нечто вроде музыкального винегрета.

…Мы с Рамизом жили в Ялте в Доме творчества писателей, Лиля в санатории недалеко от нашего дома. В тихом парке Дома творчества белки бегали по стволам старых сосен, и мы часто кормили их с рук. В санаторном парке никаких белок не наблюдалось, думаю, их распугал шум, гам, грохот, которые распространял вокруг себя в радиусе километра напористый и голосистый массовик. Ни мне, ни Рамизу не работалось тем летом, и мы сделались товарищами по безделью, несмотря на существенную разницу в возрасте (Рамиз был значительно старше меня), изо дня в день основным нашим занятием стало ничегонеделанье и пустое времяпровождение; часто отправлялись мы в санаторий, где обитала Лиля, и наблюдали не очень оригинальные выходки массовика, который во всех своих придумках из кожи вон лез, чтобы посмеяться над участвующей в играх публикой, но неизменно получалось наоборот – все смеялись над ним; примитивизм всего его поведения не позволял мне делать вывод, что именно этого он и добивался, но если так, то честь ему и хвала – в этом он преуспел, всякий раз успешно оставаясь в дураках. Когда нам надоедало наблюдать за играми, мы забирали Лилю и шли гулять по набережной, заходя в какие-нибудь кафе, или, если было достаточно жарко, отправлялись на пляж, или Рамиз и Лиля, явно испытывая поползновение к уединению, прощались со мной, предоставив меня самому себе, и я один бродил вдоль моря или шел на пляж театрального общества, где однажды одна почтенная и словоохотливая дама рассказала мне, как здесь, у моря, несколько лет назад на ее глазах убило молнией молодого солдата, собиравшегося купаться в море в грозу. Рассказывала она не очень ярко, и я бы, на-

верно, давно забыл про убитого солдата, если б в конце своего рассказа эта вполне интеллигентная, с утонченными манерами женщина не осенила себя частыми мелкими крестами…

Я услышал невнятный шум, очнулся от своих мыслей, огляделся – Лиля и Рамиз вяло, утомленно беседовали, а на улице – было видно сквозь большое окно ресторана – шел дождь. Его шум и заставил меня очнуться.

– Дождь, – сказал я.

– Ну, выпьем? – сказал Рамиз.

– Я больше не буду, – Лиля прикрыла рукой стопку, чтобы ей не наливали.

– Убери руку, – сказал Рамиз, протягивая бутылку к ее стопке.

– Сказала же – не буду, – повторила она.

Рамиз налил водку на ее пальцы, как раз, по-моему, хватило бы наполнить стопку.

– Что, с ума сошел? – спросила она без всякого, впрочем, возмущения.

– Да, – сказал Рамиз. – Я сошел с ума.

Я молча наблюдал за ними. Былой суетности теперь и в помине не было во мне; нелепую ответственность за то, чтобы наша маленькая пирушка прошла как можно менее мрачно, что пристала ко мне в начале вечера, как ветром сдуло, или точнее – дождем смыло, и я сидел раскованно, слушая, как гудит хмель в голове, как шумит дождь за стенами, как приглушенно шумит ресторанный люд, не вполне ещё расходившийся, слушая приятную музыку из давно ставшего анахронизмом музыкального аппарата, слушая убывающий, тающий разговор за нашим столиком, попивая водку, без слов чокаясь с Рамизом. Теперь, когда я был немножко пьян, все вокруг чуть-чуть сдвинулось с неприятной точки, изменило свою ось, вокруг которой все теперь веселее крутилось, изменило свое содержание и вскоре грозило окончательно стать своей противоположностью. Я увидел, что Рамиз держит Лилю за руку. Среди всеобщего невнятного шума за столиками, звона посуды, звуков из граммофона эти двое в какой-то миг остались одни-одинешеньки, и тут вдруг мне почудилась фраза, которую, немного зная характер Рамиза, я мог лишь с большим трудом приписать ему:

– Не бросай меня, Лиля, не бросай меня…

То ли фраза попала в еле уловимую паузу во всеобщем гаме, как самолёт попадает в воздушную яму, то ли слух мой в ту минуту больше работал на моих соседей за столом, но услышал я именно это и достаточно отчетливо. Лиля ответила не сразу, некоторое время ушло у нее на поглаживание его руки на скатерти. Собиралась с духом, видно. Я снова, на этот раз осознанно, напряг слух.

– А как же мне жить, родной? – сказала она. – Разве это жизнь, что у меня все эти годы? Я не могу так продолжать. Если бы я не любила тебя, все было бы проще. Гораздо проще. Курортный роман. На двадцать четыре дня. И все.

– Не надо так, – проговорил он. – Я ведь живу и знаю, что ты где-то есть. Пусть далеко, в другом городе, но есть. А если ты уйдёшь, что тогда? Тогда многое для меня теряет смысл. Все к черту катится. Мне ведь немало лет уже, и Бог не даст мне больше такой хорошей любви…

– Милый мой, милый… А как же я, как же моя жизнь? – она помолчала и потом: – Видишь как, – говорит, – каждый из нас о себе… Можно ли так?..

И тут за соседним столиком так дружно заорали, приветствуя очередной тост, что последняя фраза Лили, тихо тренькнув надломленной льдинкой, канула в этом

оре, как в водопаде, осталось же одно грустное выражение на лице Рамиза. Вот примерно так они разговаривали, а к концу вечера мы надрались с Рамизом вдрызг, дождь усилился, надо было приканчивать невеселую нашу пирушку, но за окнами лило ливмя, лило, лило, лило, лило, писать бы мне все набело, побольше денег набегло, и стало б жить не тяжело, итак – лило, лило по всей земле, по всей планете, лило (слово-то какое, боже, оторваться нет сил, лиловые струи чудятся), ну, значит, так лило, шуршало и свежело, как в раю, в раю, вне стен души моей, ибо и душа имеет стены, раз уж доказывают, что их имеет вселенная, а что такое душа, как неточная копия вселенной с живущими на планетах живыми существами, с мертвыми уголками, высохшими океанами, некогда омывавшими душу мою… Вот такие пьяные мысли болтались в моей голове, как детская ножка, для озорства залезшая в папин ботинок.

– Как же мы вернемся по такому дождю? – задумчиво проговорила Лиля, и видно было, что ее совершенно это не беспокоит, она далеко пребывала мыслями. – Я и зонтик не захватила.

– А мы здесь останемся, – сказал я. – Верно, Рамиз? – и тут же, не дожидаясь ответа, прибавил: – Вернемся, Лилька. Еще как вернемся. Еще ни разу не было, чтобы я не возвращался. Мы вернемся по-пластунски.

– Не говори так много, – сказала Лиля. – Ты устанешь.

– Нет, что ты, – сказал я. – Не устану. Я свеж и бодр, как бобер.

Я поглядел за окно; и улица под дождем из этого прокуренного зала, пропитанного угнетающим шумом, звоном, смехом, и квадрат асфальта под дождем, освещенный светом из ресторанного окна, вдруг показались мне землей обетованной.

– Не унывайте, детки, дядя с вами, – сказал Рамиз, все еще сохранявший остатки бодрости и жизнерадостности, несмотря на невеселое для него наше застолье, поднялся и пошел, стараясь не шататься.

– Куда это он? – спросила Лиля.

Я проводил взглядом двоящуюся фигуру Рамиза, пробиравшегося среди двоящихся танцующих, и сказал вполне определенно:

– Туда.

– Ты погляди, что этот шут гороховый вытворяет, – вдруг с досадой произнесла Лиля.

Я поглядел. Двойной Рамиз периодически приседал и вскакивал, отдавая честь перед каким-то военным, танцующим с полногрудой женщиной. Выражения лиц были для меня стерты и туманны, и это меня нервировало; несмотря на сильное опьянение, мне хотелось разглядеть лица, очевидно, смутно, где-то в темной глубине сознания я все еще продолжал помнить о своей профессии инженера душ человеческих и тщетно стремился теперь разгадать, что творится в душах этих троих, оказавшихся в подобной, не очень-то приглядной ситуации – Рамиза, военного и обильной телесами женщины. Я продолжал размышлять о чем-то тягучем, бесконечном, вроде потемок чужой души, когда вернулся Рамиз. Вблизи он был не очень двойным, почти сливался с самим собой, и это оказалось намного приятнее, чем наблюдать за ним, двоящимся, да еще в придачу дурачащимся.

– Где ты был? – спросила Лиля.

– В туалете, – ответил за Рамиза я, потому что сам туда хотел.

– Нет, – сказал Рамиз, бессмысленно и несколько таинственно улыбаясь (его улыбка тут же сделалась двойной и стала существовать сама по себе, вне его лица,

как у кота из сказки об Алисе). – Я вызывал такси! – Он это сказал так гордо и так напрашивался на восхищения своей сообразительностью (впрочем, вполне понятно для человека инертного, что-то сумевшего), что можно было подумать, что он не такси вызвал, которое еще даже не ясно, приедет – не приедет, а, по крайней мере, остановил кровопролитие в одной из горячих точек планеты, благодаря своей дипломатической находчивости и таланту.

Минут через десять мы выходили из ресторана и усаживались под проливным дождем в такси, за рулем которого вдруг счастливо обнаружилась молодая, светловолосая, очаровательная девушка, чем я был приятно удивлён, и в состоянии этого приятного удивления тут же шлепнулся рядом с ней на переднее сидение. Рамиз с Лилей сели сзади, оба снова помрачневшие, и изредка обменивались короткими, тихими фразами. Но мне уже порядком осточертели их кислые рожи, и я принялся с места в карьер ухаживать за этой замечательной девушкой за рулем, да так это у меня получилось неудержимо-напористо, что она, кажется, даже перепугалась.

– Не хватайте меня за руки! – строго просила она меня и время от времени обращалась к этим скучным приятелям сзади: – Успокойте своего друга, пусть он не трогает меня.

– Перестань, оставь ее в покое, – доносилось сзади. – Мы сейчас разобьемся. Оставь ее.

– Как вас зовут? – спрашивал я, улыбаясь до ушей.

– Я вам уже сказала, – говорила девушка.

– Можно я вам ручку поцелую? – клянчил я с пьяной слезой в голосе.

– Не трогайте меня, – просила она, – а то я нервничаю.

Всю дорогу я спрашивал её имя, шесть раз назначал свидания в разных местах Ялты, несколько раз приглашал в ресторан и один раз предложил выйти за меня замуж. Тут она улыбнулась, но чем-то эта улыбка мне не понравилась, и я не стал настаивать на последнем предложении. Ненадолго в машине наступила тишина и я отчетливо осознал, что это именно я так безобразно варварски нарушал ее своей глупой трескотней. Мягкий шум дождя, негромкий приглушенный шум мотора – и все. И до чего же, оказывается, было приятно так ехать по блестевшему, мокрому, будто отполированному асфальту.

– Учан-су, – послышался тихий голос Лили за моей спиной.

– Что? – спросил Рамиз тоже тихо, будто оба они находились у постели спящего ребенка.

– Учан-су, – задумчиво, не сразу повторила она. – Тоненькая струйка – Учан-су…

Опять наступила тишина благостная, а потом наша девушка за рулем сказала:

– Да, тоненькая струйка, а был, знаете, какой водопад! Красота! Мощный, как лев…

– Вы осетинка? – спросил я ее.

– Да, – кивнула она. – Как вы догадались?

– Когда вы про льва сказали…

– А что тут такого? Он и правда был мощный, сильный, как лев.

– Ничего такого, – сказал я. – Что вы обижаетесь?

– Я не обиделась, – сказала она обиженно.

– А вы знаете, что я заметила, – проговорила Лиля, – когда смотришь на эту струйку, так и кажется, что это был красивый, настоящий водопад. Правда, Рамиз?

– Не знаю, – не вдруг отозвался Рамиз.

– А вы правы, – сказала осетинка за рулем. – Угадывается, – она подумала и прибавила, – или это оттого, что я видела его таким, настоящим? Не знаю…

– Нет, нет, – сказала Лиля. – Угадывается, точно. Я же не видела… Учан-су… Место, где умерла моя любовь, – сказала она.

Сказала она просто, без всякого пафоса, что казалось почти невероятным.

– Фу, пошлятина, – ляпнул я спьяну, не подумав, и тут же понял, что в данном случае мне следовало бы заткнуться. Заткнуть, так сказать, свой фонтан, а вернее, свой водопад, который всем, и мне в том числе, давно надоел.

Потом мы приехали. Я платил за такси и, нагнувшись к девушке-водителю, сказал:

– Прощайте, прекрасная осетинка, так я и не узнал вашего имени.

– Я вам уже говорила, – упрямо повторила она.

– Говорила, говорила, – подтвердил Рамиз. – Мы с Лилей свидетели.

Я не стал у него узнавать ее имя, а потом так и не мог вспомнить, хотя временами наплывало, знаете, такое, будто непременно надо вспомнить какую-нибудь ерунду, давно бывшую, словно жизнь без этой давно прошедшей, никому не нужной мелочи уже не будет такой полной, как хотелось бы… Тем более, что девушку я помнил еще долго, очень отчетливо помнил ее лицо.

Тем летом Рамиз с Лилей расстались. Он поначалу сильно переживал, не раз в Баку встречался со мной, уводил пить и слезно жаловался на свою судьбу, но и пальцем не шевелил, чтобы что-то исправить в ней. Это на первых порах раздражало меня до того, что я не очень-то верил в искренность его чувств; я был на позициях человека действия, своим трудом и своими руками, ну и прочее, все, что на плакатах. Но в то же время я понимал, что только в силу его бездеятельности я не имею права подозревать его в неискренности и поверхностности переживаний. И я мямлил ему какие-то глупые и бесполезные утешения, бросив свои радикальные советы слетать к ней, забрать ее, развестись с женой и жениться на Лиле, раз уж он без нее жить не может, черт побери! Но плакался и выпивал со мной он не так часто, у каждого из нас были свои дела, и разница в возрасте, которая казалась несущественной помехой на отдыхе в Ялте, где во всем заезде из Баку в Доме творчества были только он да я, тут, в своем городе, сказывалась резче и ощутимее, у каждого из нас был свой круг знакомств и друзей, и круги эти только лишь соприкасались, не сливаясь полностью один с другим. Потом мы изредка встречались на улицах или на различных презентациях, или у общих знакомых, и встречались как добрые, старые друзья, нам было приятно видеть друг друга, будто нас связывало нечто, о чем не знают все остальные. И в самом деле так и было. Рамиз постепенно возвращался к своей нормальной, размеренной жизни, с каждым днем все больше погрязая в семейных заботах, хлопотах, суете (как и я, впрочем, как и я), все реже вспоминал он со мной Ялту, непугливых белок на соснах в парке Дома творчества писателей, ресторан Учан-су, нашу поездку в такси под проливным дождем, Лилю, их любовь, скончавшуюся у нас буквально на глазах под звуки старинного граммофона (выражаясь ее манерой говорить, а как же еще выражаться, если подобные вещи только у нее и выходили естественно), водопад Учан-су, тоненькую струйку, в которой и вправду угадывался мощный, как лев, шумный – в былые времена – настоящий водопад с упругим зеркалом падающих вод, от коих теперь осталась только эта тоненькая ниточка с воздушным – как и полагается всяким ниточкам и паутинкам – названием Учан-су.

Через несколько лет Рамиз умирал в онкологическом центре от рака мозга. Я ездил к нему в больницу. Хотя я уже говорил об этом… Почему-то я уверен, что именно те слова, с которыми он обратился ко мне тогда в палате, были последними в его жизни. Мне хочется в это верить, потому что… Ну, просто мне очень хочется, чтобы это оказалось так, чтобы после этих слов, после его вопроса, обращенного ко мне и о многом мне говорящего, он бы не произносил ничего такого, что могло бы быть далеким от этих слов…

… Потом я стал замечать за собой странные вещи, чего раньше не наблюдалось: вот я только приехал и через день-другой мне снова хочется уехать отсюда, мне тесно и душно в своем городе, но, когда попадаю в другие города, то же самое повторяется уже на следующий день, хочется побыстрее закончить дела и вернуться домой. По ночам тревожащий, глухой шум вокзала просачивается в комнату. Я встаю, плотно прикрываю окно и некоторое время сижу перед ним, уставившись на пустынную ночную улицу, залитую перед нашим домом мертвенным светом фонаря. Безвкусно и без удовольствия выкуриваю сигарету. О чем думается в такие минуты? Трудно сказать. Вроде ни о чем. Вроде обо всем. И все же среди разных беспокойных, обрывочных мыслей вдруг возникает чувство, что, наверное, именно такие вещи, как напрочь забытое имя девушки-осетинки в такси, или почти забытая нелепая поза двоящегося в моих глазах Рамиза, пьяного и дурачащегося перед танцующими в ресторане, или грустные взгляды Лили за столом, или огромный с медным узором лепесток граммофона, внезапно разразившегося шлягером, – что именно такие вещи – позабытые, полузабытые, стирающиеся из памяти – не будь они забытыми и стирающимися, делали бы нашу жизнь полнее, сохраняли бы ее яркие краски и запахи в каждом благословенном мгновении, отпущенном нам; и глоток за глотком мы пили бы, упивались бы этой жизнью, прислушиваясь к причудливому переплетению ее голосов, из которых многие не слышим, многие пропускаем мимо ушей, боясь услышать, затыкаем уши, чтобы, не дай Бог, не просочились незванно голоса этой жизни, могущие растревожить нас среди ночной тиши и спокойного безмолвия, лишить душевного покоя…

Наблюдатель

Если сильно зажмуриться и потом мгновенно распахнуть глаза, то в ясной синеве неба появятся мелкие звездные крапинки, похожие на пузырьки, как много-много лет назад, в детстве, когда он на мардакянской даче лежал на раскладушке в саду и смотрел в небо, попеременно зажмуривая и открывая глаза, стараясь каждый раз находить новые узоры на полдневном безоблачном небе.

После обеда его укладывали спать, но он не хотел, огорчался, капризничал, придумывал поводы, чтобы на сегодня миновать опостылевший отдых, хотелось еще побегать на пустыре возле дачи, где валялись кучи мусора, и где однажды он нашел тоненькое обручальное колечко, золотое.

Но мама с недавних пор решила, что после обеда он каждый день должен хотя бы часик поспать или, по крайней мере, полежать спокойно, так как был он слишком худым и чересчур подвижным, юрким, неспокойным, что мешало ему набирать нормальный для своего роста и для своих восьми лет вес.

Солнце пекло нещадно – середина лета; коротко остриженная голова была горячей, и мама у двери, под раскидистым тутовником, кричала ему, чтобы вернулся и надел пляжную панамку. Он не хотел: в панамке здесь, на пустыре, он выглядел бы

нелепо, никто из детей не ходил сюда в головном уборе – кепке или шляпе от солнца. Он набирался солнечного света и тепла, впитывал жару через худенькое свое тело и остриженную голову, чтобы потом, когда отец вернется с работы, и они поедут на пляж, с наслаждением растратить, растворить накопленное тепло в прохладной морской воде.

Все пока было спокойно, жизнь шла размеренно и позволяла надеяться на хорошее. Неприятности начались потом, будто жизнь надломилась, поломалась, и лучшая половинка осталась в его детстве.

Иногда в небе пролетала птица, разрушая узоры, которые он наблюдал.

К счастью, время полдневного сна, как и все плохое, кончалось, и он вскакивал с раскладушки, и порой его вместе с двоюродным братом, семейство которого жило на соседней даче, посылали в булочную за хлебом, и оба мальчика бежали босиком по нагретому, обжигавшему пятки асфальту, и были рады, что обрели недолгую свободу без родительского надзора.

Но с братом он так и не подружился, слишком разными были характеры, неинтересно было с ним…

…Он проснулся поздно, будильник показывал половину одиннадцатого, вспомнил, что среда, что на работе должен быть после одиннадцати, что день предстоит насыщенный и нелегкий, ждут неотложные дела, которые нельзя откладывать на четверг, а тем более – на пятницу, надо проверить около десяти объектов, на которые падало серьезное подозрение… И вдруг посреди рабочей недели, сам не понимая, что его натолкнуло на это неожиданное решение, заказал такси и поехал в свое селение, на кладбище, на могилу отца. Стал припоминать: отец умер четырнадцать лет назад, и он уже года два не был на кладбище, на его могиле. Конечно, это был повод, так сказать, сыновний долг, но почему так внезапно, позабыв все срочные дела, которые требовали его присутствия и немедленного решения, тогда как можно было бы спокойно посвятить этому воскресный день? С отцом он нельзя сказать, что был дружен при жизни его; после того, как развелись родители, он редко виделся с отцом… Уже подъезжая к кладбищу, он вспомнил свой сон, очень путаный, бессюжетный, тревожный, из которого ничего нельзя было понять: если сильно зажмуриться, то сверху, с чистого, прозрачного неба посыплются крапинки, похожие на осколки стеклянных звезд. Давно умершая бабушка, у которой он жил несколько лет, когда уже был юношей, что-то несуразное несла с балкона третьего этажа дома, похожего на их старый дом в нагорной части города, где ютилась, в основном, городская беднота; покойный отец, нервно настаивающий на срочном переезде в неизвестный северный город, плачущая навзрыд, будто случилось большое горе, мать… Такой сон…

На кладбище никого не было, кроме двух служителей – дворников, непонятно, что здесь убирающих и охраняющих – все могилы заросли сорной травой, кое-где валялись прозрачные грязные пакеты, пожелтевшие газетные листы и прочий мусор, и никому дела не было до всего этого. Завидев его у могилы отца, торопливой рысцой по главной аллее кладбища стал приближаться молла. Он стоял и смотрел на надгробный камень, очень простой, из обычного камня, с надписью на кириллице, на которой уже никто не читает здесь. Скупая надпись: годы жизни, имя, фамилия… Они не могли пробудить в нем ни одного воспоминания, кроме тяжелых месяцев, когда отец пристрастился к алкоголю, и скандалы в их доме вспыхивали часто и долго не затихали, то достигая кульминации, то опускаясь до относительного взрывоопасного затишья, как кардиограмма неблагополучного сердца. Он был в каком-то полу-

сонном состоянии, но вдруг будто пробудился – первая дата на камне, дата рождения отца, вдруг натолкнула его застывшую мысль на воспоминание, которого у него никогда не было и быть не могло: каким был его отец ребенком – годовалым, лет трех, пяти?.. Никаких детских фотографий его, конечно, не имелось, в те годы фотографии были редкой роскошью, не все могли себе позволить, а тем более – сельские жители. Но ему необъяснимым, чудесным образом вдруг привиделся живой детский образ отца: как он учился ходить, смешно переставляя ножки, хватаясь по пути за все, что попадалось, чтобы не упасть, пугливо улыбаясь своей новоприобретенной способности самостоятельно передвигаться… Он будто ненадолго очутился в давнем сне отца, проспал в его сне, не понимая, как сюда попал. Он некоторое время рассматривал придуманный образ перед глазами, не совсем понимая: все было очень живо, как наяву, и жизнь этому мальчику еще предстояла, вся нелегкая, трудная жизнь, которую он взвалил на себя и тащил, но не выдержал до конца, рухнул, свалился, сбросил со своих плеч ответственность за дом, за семью, за сына…

Рядом, почти вплотную, была могила деда со стороны отца – такой же простой камень, какой отец завещал установить на своей могиле, только надпись была арабской вязью. Деда он не видел, тот умер до его рождения, умер нестарым, лет пятидесяти, и был прост и наивен до глупости – по рассказам отца, которые в детстве он обычно выслушивал невнимательно, вполуха, а отец настойчиво старался привить мальчику любовь к незнакомому деду.

Старый молла, запыхавшись, подошел к нему, поздоровался за руку (он мельком глянул на грязные ногти старика, на длинные четки, свисавшие с его левой руки) и сказал обычную в подобной ситуации фразу:

– Да упокоит его Аллах…

Надо было ответить такой же фразой в адрес его усопших, но ему было лень открывать рот и что-то говорить, вдруг он почувствовал страшную усталость, навалилась такая утомленность, будто он целый день таскал тяжести, и он почему-то воспринял эту необъяснимую утомленность как следствие видения отцова детства, словно причина была в том, что он представил себе отца ребенком, будто это требовало невероятных усилий, и теперь разболелась голова, стало знобить как при сильной простуде, сжалось сердце, облилось черной печалью, будто отец только вчера умер, а не четырнадцать лет назад.

Когда молла читал заупокойную молитву из своей маленькой книжки, он вдруг так отчетливо почувствовал беспокойство, что застучало в висках, от боли раскалывалась голова, и он понял, что должен немедленно покинуть это место, это тихое, безлюдное кладбище, сунул в карман молле приготовленную заранее купюру и уехал на поджидавшем его такси. В машине он незаметно заснул под неторопливый говор болтливого таксиста, и видел сон.

И видел сон…

Как будто я гуляю со своим старинным другом, другом юности, с которым много лет мы знакомы, много-много лет. Все отлично, мы заходим в какую-то незнакомую дешевую забегаловку, но там нас сердечно приветствуют, моментально обслуживают, мы выпиваем, потом выходим на улицу. И тут он вдруг поворачивается ко мне спиной и торопливо, быстрыми шагами, будто боясь, что я стану догонять его, не прощаясь, удаляется, переходит на другую сторону улицы, и на остановке поджидает автобус, чтобы уехать домой. Я смотрю ему вслед, не могу понять, но ни шагу не делаю в ту сторону, куда он ушел. Я просто смотрю на него, стоящего на остановке

автобусов, ветер шевелит седые отросшие волосы, седые-седые волосы на непокрытой его голове, руки засунуты в карманы теплой куртки, он смотрит в ту сторону, откуда должен придти автобус. Прощай, моя постаревшая юность… Как легко терять друзей в этой жизни, особенно, если их никогда по-настоящему и не было.

«Так из меня ничего и не вышло», – подумал он с запоздалой, притупившейся за годы горечью.

А ведь как он мечтал построить свою жизнь! Какие честолюбивые и прекрасные мысли роились в голове долгие годы, однако лень было претворить их в жизнь, не хватало энергии, не хватало способностей, недостаточно было таланта, а может, и вовсе не было, не хотелось действовать, а хотелось все время думать, мечтать, и все дальше уходить от реальности, от действительности, которую настоятельно в его годы требовалось переделывать, перестраивать, создавать, в конце концов, потому что то, на чем он обосновался и не желал сдвинуться с места – была пустота. Безделье. Ничто. Поглощавшее его огромное Ничто. Нет, конечно, что-то он делал, он работал, и уже долгое время, в одной и той же районной конторе по распределению электроэнергии населению довольно крупного поселка в семидесяти километрах от столицы, от Баку, где родился и вырос, и где постепенно утратил все свои честолюбивые помыслы и мечты; он женился, был покладистым, хорошим мужем, трудился как муравей, приносил аккуратно зарплату домой, жене; и уже были взрослыми дети, двое, девочка и мальчик, кому-то он был нужен, были у него и приятели, с которыми он встречался время от времени… но все это было так обыденно и так обидно, так мелко перед тем, что мечталось в юности, лет тридцать назад… Однако это была жизнь, его жизнь, и от этого никуда не денешься… Он вздохнул, и вздох получился тоже какой-то обреченный, печальный. На этом вздохе как раз вошла в комнату жена.

– Отдыхаешь? – спросила она с улыбкой, не желая беспокоить и даже не догадываясь, что у её молчаливого мужа творится в голове, в душе, что творилось долгие годы и так и не стало реальностью, он никогда не говорил с ней об этом, о том, что в юности, в молодости хотел стать профессиональным художником, был честолюбивым, хотел стать известным, и как быт (в это понятие включалась и семья, разумеется) и его природная склонность к бездействию разрушили его самые яркие, тщеславные планы; она же, тихая, безответная, преданная мужу, была вполне довольна им – муж как муж, не хуже, чем у других мужья.

Он только посмотрел на неё, зная, что просто так она не войдет в комнату, где он лежал после работы, отдыхая, что называется, плюя в потолок.

– Самир приехал, – сообщила она так, словно знала приехавшего, – звонил, когда тебя не было дома, сказал, перезвонит.

И улыбка её стала еще более радостной, будто она была уверена, что сообщает хорошую весть.

Он не сразу сообразил, и хотя обычно не любил сразу спрашивать, пока не подумает и не сообразит, но тут поторопился.

– Какой Самир?

– Твой друг детства. Из Лондона который. Про которого ты мне много раз рассказывал. Знаменитый художник. Ты что?! Проснись. Приехал, говорит, ненадолго, хочет встретиться…

И он вспомнил. Да, Самир! Они учились в одной школе, а когда он, Мехти, остался в классе на второй год, то и в одном классе, и вместе окончили школу, и вместе поступили в художественное училище… Да, Самир… Много лет назад он уехал,

сначала, вроде бы, в Москву, покантовался там, или учился, непонятно, потом – поговаривали – подался аж в Англию, в Лондон… Сделал себе карьеру, не то, что он… Вот валяется на диване и только и умеет, что подогревать давно остывшие мечты. Но первое, что он вспомнил о своем друге детства – совершенно неожиданно нахлынуло – было совсем не в пользу Самира. Картинка живо встала перед глазами, и он увидел друга семнадцатилетним. Когда они учились в старших классах, у Самира вдруг завелась странная привычка: он брал в долг, по мелочи, у своих одноклассников, в том числе и у него, Мехти, отдалялся от школы на квартал-другой и подкатывал к школе на такси именно в тот момент, когда из школы выходили их одноклассницы, выходил из машины, небрежно хлопал дверцей, расплачивался с шофером чужими деньгами и как ни в чем не бывало подходил к группе своих школьных товарищей, у которых только что брал взаймы. Деньги он никогда не возвращал, но это была такая мелочь, что многие стеснялись напоминать ему… Естественно, о его такой причуде, если только это можно было назвать таким мягким словом, вскоре все узнали и посмеивались за глаза, опасаясь насмехаться открыто, потому что нрав у Самира был крутой, и он никому не давал спуску, стоило его только задеть обидным словом… Но почему он сейчас вспомнил именно это? Почему именно это, не совсем приятное, навязчиво всплыло в памяти из их давней дружбы?.. Ведь было много и хорошего, доброго в их отношениях, несмотря на то, что Самир любил покрасоваться, прилгнуть, насочинять такого, что на следующий день сам же стыдился своей невероятной фантазии. Однако такое поведение сверстниками не воспринималось однозначно, никто не хотел, чтобы его держали за дурака и вешали ему лапшу на уши, какой бы ершистый характер ни был бы у враля и сочинителя. Но с ним, Мехти, Самир дружил, немало было случаев, когда лез за него в драку, за него, Мехти, несколько флегматичного, заторможенного, избегающего конфликтов, защищал его, несмотря на то, что был на год младше, а разница в год у подростков была немалым сроком… Они, можно было утверждать, были настоящими друзьями, дружили бескорыстно, крепко веря в дружбу, так как могут дружить только шестнадцатилетние подростки, еще не познавшие суровости жизни, но и при всем том Самир не упускал возможности подшутить, порой даже очень обидно, над своим наивным и доверчивым другом. Как-то раз, зная, что Мехти болезненно переживает свою низкорослость и мечтает вырасти и обогнать своего друга, и даже одно время стал заниматься баскетболом, чтобы вытянуться, Самир сказал простоватому (многие называли его простофилей) Мехти: «Бросай ты заниматься этой чепухой! Я вот узнал у опытного врача, как можно быстро, за короткое время вырасти, спорт тебе ничего не даст, да ты и не любишь спорт, я же знаю, через силу идешь на тренировки. А вот что нужно, поверь, это проверенный метод: ты каждое утро ешь по пять-шесть сырых помидоров, как начнешь есть, сразу увидишь результат, только рост придется мерить каждые два часа, если ничего не изменится, то и по вечерам перед сном надо есть тоже по пять-шесть штук, понял?» Мехти послушно, обрадовано кивнул, приняв на веру эту нелепицу, которую мог бы раскусить любой пятиклассник, даже не поинтересовавшись, у какого опытного врача мог узнать об этом «методе» такой мальчишка, как Самир; и с тех пор к недоумению матери из холодильника у них в доме стали таинственно исчезать помидоры. Мехти ел помидоры тайно, словно выполняя какой-то непонятный ритуал, ел торопливо, перед зеркалом, чтобы его, похитителя помидоров, не застукали, и внимательно следил за макушкой, но выше не становился, хоть и отмечал свой рост каждые два часа, как и было наказано другом. И когда, наконец, тайна похитителя помидоров была раскрыта

заподозрившей неладное мамой, он вынужден был сознаться. Мать не стала его ругать, но в душе лишний раз огорчилась от такой наивности и доверчивости сына. Тогда он ужасно обиделся на Самира, но так как по характеру был незлобив и отходчив, сам же первый подошел к другу через день, обнаружив, что без общения с Самиром в его короткой пока жизни появляется зияющая пустота. Но не все было так плохо и безнадежно с Самиром, было у него и немало прекрасных черт и поступков, и один из этих поступков он, Мехти, помнил до сих пор и будет помнить всю оставшуюся жизнь. Они учились в десятом, выпускном классе, когда в их класс была переведена из другой школы новенькая, неизвестно по какой причине, неизвестно как, обычно в последний учебный год с переводами из одной школы в другую в то время было довольно-таки сложно, но она перевелась, и была эта новенькая красавицей, которая затмила всех девочек не только их класса, но и, пожалуй, всей школы. Мехти со своим замкнутым, влюбчивым характером влюбился в неё до самозабвения, до обожания, до дрожи, пробиравшей его с ног до головы, стоило ему хоть издали завидеть её. Он и словом с ней не перемолвился, в её присутствии у него отнимался язык, а если что и выговаривалось, то это было до того косноязычно, что лучше бы ему было помолчать, что он и делал. Самир, напротив, разливался мелким бесом, непринужденно шутил с ней, заставляя её хохотать, без зазрения совести рассказывал ей старые анекдоты и шутки, порой довольно рискованные, которые у класса уже давно не вызывали улыбки, но тем не менее она смеялась, громко, заразительно, будто кто-то невидимый щекотал её. Мехти ненавидел её в такие минуты, ненавидел, но еще больше любил, влюблялся по уши, по макушку, и неизвестно, чем бы все это закончилось, когда Самир, заметив состояние друга и услышав наконец-то признание из его уст, вдруг резко поменял свое поведение с девочкой, перестал с ней общаться, уже не подходил на переменах и не смешил, как прежде. Самир, несмотря на то, что был на год младше Мехти, был почти на голову выше друга, был красивым подростком, девочки заглядывались на него, так же, как и новенькая. Мехти же по внешности был прямой противоположностью Самира: маленький, полноватый, неуклюжий, с вечно опущенной головой, похожий на откормленного бычка, готового бодаться, заторможенный мечтатель с вечно всклокоченными волосами, торчавшими на голове, как проволока, и не желавшими поддаваться расческе. И Самир тоже, в ответ на признание друга, признался ему, что новенькая очень ему нравится, и он пока не знает, влюблен или нет, но как бы то ни было, он уступает другу, прекращает с ней общаться. «Но больше я ничего для тебя не могу сделать, действуй сам», – сказал он, и был прав, и Мехти понял это: хорош бы он был, если бы Самир стал бы хлопотать перед ней о делах его сердечных, он был бы просто смешон, и если девочка до сих пор просто не замечала его, то после она его попросту презирала бы. Но этот поступок Самира он запомнил и был по-настоящему благодарен ему. А однажды, когда Мехти, подстрекаемый товарищами, не желая, чтобы его уличили в трусости, полез на крышу школы по шаткой водосточной трубе со двора (что было строжайше запрещено и каралось руководством школы исключением из учебного заведения), позабыв о своей главной фобии – высотобоязни, и уже на крыше, глядя вниз на кучку школьников, веселившихся от сознания, что удалось спровоцировать этого простофилю, понял, что спуститься отсюда он уже не сможет ни за что на свете, скованный страхом, под градом издевательств мальчишек в школьном дворе, Самир, не раздумывая, полез следом за ним и помог спуститься. Мехти стошнило от липкого, противного чувства животного страха и он, не сдержавшись, вырвал на своего друга. «Вот спасибо!», – шутливо произнес Самир, когда они

спустились на землю, во двор школы, хотя ему в таком виде было явно не до шуток. Но ни словом не упрекнул друга. Самир не раз вступался за него и лез в драку, не раз выручал его из сложных ситуаций, которых в жизни каждого школьника бывает немало на каждом шагу, и он все прощал другу, все, даже не очень понятные, его поступки и действия, и даже часто подражал ему, его хорошим чертам характера, и если бы его спросили, кем он хотел бы стать, когда вырастет, окончит школу и вступит в жизнь (как говорили учителя, как будто в школе это была пока не жизнь, а какая-то подготовка к настоящей жизни), он ответил бы: Самиром. И это было вполне естественно среди юношей и подростков с неоформившимся еще характером: как правило, один бывает ведущим, второй ведомым, один – лидер, второй – идущий по его следам, влюбленный в своего друга и вожака; и дружба их была бескорыстной, беззаветной, жертвенной, как могут дружить дети только в школьные годы. Может, не последнюю роль в том, что школьная дружба для Мехти была очень важна и фактически заполняла всю его жизнь, всю его душу, сыграло еще и то, что в семье мальчика было далеко не благополучно. Он был единственным сыном, и все проблемы, которые то и дело возникали между родителями, тяжелым грузом падали только на его плечи; не было возможности поделиться ими с другими детьми в семье, их попросту не было; не было поддержки с этой стороны, и он один, один, один должен был справляться. Были стычки в семье, часто перераставшие в шумные скандалы между отцом и матерью, отец в последние годы стал попивать и возвращаться домой в тяжелом мрачном опьянении, и вскоре родители были уже в двух шагах от развода, и Мехти терял голову, не зная, как в этой ситуации должен поступить; к нему не прислушивались взрослые, да даже если б прислушивались, что бы он мог сказать им со своим неумением убеждать? Нельзя сказать, что отец и мать не любили Мехти, они любили его каждый по-своему, но скандалы они любили больше – такое складывалось у мальчика мнение, когда он видел, с каким остервенением два взрослых человека бросались в ссору, в скандал, в раздоры – и никто из них не мог сделать первый шаг, остановиться, прекратить вовремя, сказать «Хватит!» и положить конец этому каждодневному аду в семье, пойти первому на уступки, нет, они этого не умели, каждый гнул свою линию и непрекращающийся поток упреков заливал уши и душу ребенка, как обычно происходит в семьях с недалекими, глупыми родителями. А мальчик, вступивший в пресловутый переходный возраст, крайне болезненно реагировал на раздоры в семье и каждый раз подавлял свое негодование и ярость, но ничего не мог поделать, чтобы их маленькая семья не распалась, чтобы жизнь наладилась… Примерно в это время отец стал злоупотреблять спиртным и на истерические крики и негодование матери так же истерически орал в ответ избитую фразу всех алкоголиков и пьяниц: «На свои пью, не на твои!..» Эта фраза положила начало серьезному разлому в семье. В душе мальчика образовалась огромная пустота, и вот тут, как по мановению волшебной палочки, у него появился друг, настоящий друг, какого никогда у Мехти не было до сих пор, и в ком именно сейчас ощущалась большая потребность; и оба мальчика почувствовали что-то общее, родное между ними с самого начала их знакомства. Мехти мог с ним, с Самиром, говорить вполне откровенно и доверительно, будучи твердо уверен – а почему, и сам не знал, – что друг поймет, и даже если не сможет помочь советом, то поддержит морально, воодушевит, уверит, что не так все плохо. Они оба делились друг с другом и самым сокровенным, и самым интимным, и самыми глубокими чувствами, которые и объяснить на словах затруднялись, но порой и не нужно было слов, они понимали друг друга и без слов. Мало кто из мальчиков мог так крепко дружить,

и их – может, из зависти – прозвали близнецами, хотя по внешности трудно было найти двух таких непохожих друг на друга юношей.

И однажды, во время очередной ссоры между родителями, когда вопли матери, на радость прохожим на улице, были слышны далеко вокруг, он, заткнув уши и чуть не плача, вдруг услышал крик отца:

– Я работаю, как ишак! Я все делаю ради семьи!

– А у нас есть семья?! – истошно крикнула в ответ мать.

Никто, конечно, не спрашивал его мнения на этот счет, хотя и он был членом этой, дышащей на ладан, семьи.

Эта фраза матери ударила его в сердце, и он надолго запомнил её.

Позже отец и работать перестал, просто не ходил на работу и был уволен. Это, естественно, послужило причиной для нового взрыва скандалов в доме, которые ничего не решали, но ускоряли процесс распада семьи. Однако надо было на что-то жить.

Сначала продали дачу и этих денег хватило на некоторое время, гораздо меньшее, чем рассчитывала мать, потому что большая часть опять же ушла на пьяные застолья, ночные пирушки отца – сначала в ресторанах, потом в дешевых забегаловках в кругу новоприобретенных приятелей, падких на бесплатные угощения.

Так не могло продолжаться долго, и вскоре родители развелись, и его, пока не определятся, с кем останется мальчик, отправили к бабушке. И теперь, вспоминая ту давнишнюю, почти детскую школьную дружбу с Самиром, Мехти понимал, что эта дружба заполняла пустоту, которую должна была заполнить любовь родителей. А может, он придает сейчас слишком большое значение эпизодам из своего детства, юности, своей мальчишеской, чистой, искренней дружбе, слишком драматизирует эпизоды из школьной жизни? Но ведь тогда они, эти эпизоды, были полны значения и смысла, так понятного в их юные годы, да и сейчас очень понятные ему, Мехти, должно быть, застрявшему в том времени. Тепло, что должна была получать его душа в семье, она получала от искренней дружбы и привязанности к школьному товарищу. Никогда уже потом не было у Мехти такой чистой и прекрасной, крепкой мужской дружбы, ни на работе, ни среди новых приятелей; отношения с приятелями, знакомыми не перерастали в дружбу. Жена… с женой, правда, ему повезло, и дети были хорошими, спокойными, не создавали лишних проблем. Но семья – это совсем другое, это не мужская дружба, на которой проверяется человек, его верность, его твердость, его преданность и многое другое; конечно, и в семье тоже нужны все эти качества, но… семья – это совсем другое. От семьи никуда не денешься, если ты порядочный человек, это твоя обязанность, а дружба – не обязанность, и друзья по жизни часто меняются, утрачиваются, уходят и остаются в прошлом…

А как у Самира? – думал он. – Нет, Самир совсем другое дело. Он уже там, у себя, наверное, знаменитость, личность общественная, постоянно на приемах, на презентациях, на тусовках, наверняка у него немало друзей… новых друзей, старых друзей… Но как же он при всем этом вспомнил о нем, о Мехти?

Тогда, после школы, он даже по примеру Самира тоже подал документы для поступления в Художественное училище, но, в отличие от друга, рисовал он так себе, вполне посредственно, звезд, как говорится, с неба не хватал, и искорки таланта, которая присутствовала в рисунках Самира, у него не было, просто поплелся за другом, помня, что старый учитель рисования и черчения в школе хвалил его работы и ставил одни пятерки, в отличие от работ Самира, которых старый рисовальщик (за-

давшийся целью научить всех детей рисовать именно так, как рисует он сам, их преподаватель) попросту не понимал, не переваривал, и его раздражала манера Самира воплощать на холсте свои самые причудливые фантазии, выплескивать их на бумагу, раздражала его вызывающая самостоятельность и самобытность… Самир, кстати, и тогда немало помог Мехти, поправив его рисунки, которые надо было представить для поступления в училище, и он прошел конкурс, и был рад, что и здесь они будут вместе учиться и дружить дальше… Казалось, Самиру все удавалось легко, быстро, красиво, рисунки его оживали на глазах, удивляли, изумляли, были насыщены оригинальным содержанием, в несколько минут рождался на листе рисунок карандашом или тушью, который приводил в восхищение его сверстников, завидовавших таким редким способностям одноклассника, тогда как Мехти буквально выцеживал, выдавливал из себя каждый штрих, каждую линию в поте лица, и рисование было для него нешуточным трудом, тяжким трудом и, приступая к новой работе, он каждый раз волновался и нервничал.

Что ж, он не стал художником, в отличие от друга, но тоже, можно сказать, нашел свое место в жизни, он стал настоящим чиновником, он аккуратен, хорошо знает свое дело и дотошно выполняет свои обязанности; он всегда был честен в своей работе… скажем так: относительно честен… ну… относительно других таких же, как и он, сотрудников. Он давно работает в этой солидной компании и давно освоил все те маленькие хитрости, которые помогают работникам жить, точнее, делать свою жизнь чуть качественнее, самостоятельно, без ведома руководства прибавляя к жалованию, потому как оно, это жалование, без сомнения, настоятельно требовало этого прибавления. И он не пускался во все тяжкие, гоняясь за левым, не совсем законным заработком, как многие другие делали у него на глазах, но брал то, что без ущерба и без вреда для других само плыло в руки; старался не упускать, хотя было много случаев, когда упускал, за что прослыл среди более шустрых коллег разиней, простофилей (школьная кличка каким-то непостижимым образом перекочевала и сюда, на службу), но в то же время его уважали на работе за честность и справедливость, за то, что не был жадным, как многие другие, стремившиеся урвать побольше и побыстрее, как перед концом света. Конечно, свои маленькие делишки обделывал, не без того. Многие из его сослуживцев, кто был пошустрее, договаривались с жильцами, устраивали им выгодные варианты с платой за электроэнергию, когда счетчик работал вполсилы, в четверть силы, а небольшую мзду за это получал сотрудник, совсем небольшую; но если он был сноровистым и поднаторевшим в своем деле, то таких «клиентов» среди населения, особенно населения пригородных поселков, где жили, в основном, люди бедные, было немало, были десятки, и если помножить эту небольшую мзду на количество клиентов, то получалась порой кругленькая сумма. Конечно, и свои проблемы в этом деле возникали, инспектора могли и часто переводили на другой участок, к неосвоенной части жителей района, и приходилось все начинать сначала; но были и другие подобные пути-дорожки, ведущие к заработкам. Ничего не поделаешь – надо было крутиться-вертеться, семью кормить, содержать, а содержать становилось с каждым годом все сложнее, потому как дети росли, и с их ростом росли и их потребности. Вот и приходилось пускаться на маленькие хитрости на работе, которые осваиваешь с приходящим опытом. Ну, если уж на то пошло, покажите мне человека, который был бы доволен своей зарплатой… Хорошо еще, что жена попалась вполне понимающая, покладистая – в этом ему точно повезло, что случалось с ним довольно редко в жизни, но это везение, по-

жалуй, было одним из главных в его судьбе – жена понимала его с полуслова и не укоряла за то, что он не министр энергетики республики. И, пожалуй, он неплохой семьянин, содержит семью, не позволяя жене работать. Хотя порой думает, что это было бы неплохим подспорьем для них…

Да, было бы интересно повидать его через столько лет… Сколько же? Он стал припоминать, когда Самир уехал из их родного города, когда в последний раз видел его, но запутался в годах, во времени, и бросил… какая разница?

Повторно звонок на квартирный телефон раздался только вечером, через час, когда уже привыкший к режиму Мехти обычно ложился спать. Но услышав в трубке бодрый, напористый голос давнего друга, он тоже взбодрился, забыл о сне, радостно забилось сердце.

– Я забыл взять утром у твоей жены номер твоего мобильника, – с места в карьер, не здороваясь, не спрашивая о самочувствии, как привык аккуратный Мехти, так, будто только утром виделись и он никуда не уезжал, прогрохотал знакомый, почти не изменившийся, если не считать возрастной хрипотцы, голос Самира. – Не побеспокоил твоих? Давай вылезай из норы, я в ресторане «Шуша», жду тебя!

И, не дав другу ответить, Самир отключился. Мехти положил трубку в некотором недоумении, посмотрел на номер, высветившийся на телефоне, это был мобильный, и не запомнил, а телефоном тут же завладела дочь и заперлась с ним в комнате. Мехти растерянно огляделся: как он узнал, что его квартира и впрямь похожа на нору? Давно требовавшие ремонта стены с кое-где обвисшими обоями, щели в покосившемся окне на улицу, старый кондиционер, который впору в музей сдавать, выпавшие местами квадратики кафеля в ванной комнате… Самир, конечно, далеко не в такой квартире живет там, у себя, в Лондоне, и хорошо, что не заявился в гости внезапно, лучше, конечно, на нейтральной территории, но ресторан «Шуша»… Он не бывал там, но слышал, что это довольно дорогой ресторан, а пойти так, без копейки… тем более, что Самир гость, и угощать следует его, гостя, и платить должен, разумеется, он, Мехти. Надо было объяснить это жене, и, тяжело вздохнув, он пошел на кухню, где уже начинало вкусно пахнуть обедом.

– Что ты готовишь?

– Долму. Ты же сам просил, – сказала жена. – Забыл?

Вот было бы кстати пригласить его на обед, там у них, в лондонах, такую долму, как его жена готовит, ему не подадут, впрочем, и в ресторане должно быть не хуже. Можно бы перезвонить, но мысль о «норе» опять неприятно резанула память, и он отказался от этой мысли и стал многословно, неубедительно рассказывать жене про приглашение в ресторан со стороны приехавшего из Лондона друга.

– Это который утром звонил? – спросила жена. – Самир?

– Да, – обреченно ответил, одновременно кивнув, Мехти.

– Бери, – сказала жена. – Сам знаешь, где деньги. Ты прав: ты должен его угостить на правах хозяина дома, к которому приехал старый друг… А что он сам выбрал ресторан, что ж… это тоже нормально. Правда, эти деньги я отложила на ботинки Вугару, его обувь уже дважды чинили… но ничего, что-нибудь придумаем… Бери, бери, что ты! – видя, как муж растерялся после её слов о ботинках сыну, сказала она настойчиво и улыбнулась. – Что-нибудь придумаем…

Мехти вдруг так захотелось в эту минуту поцеловать жену, но он, да и она тоже, непривычны были к такого рода ласкам, не привыкли давать волю чувствам, и он сдержался, но увидел, как в ответ на его взгляд она ласково, понимающе посмот-

рела на него, прямо ему в глаза, и это было, пожалуй, не хуже, чем поцелуй, который, к тому же, сын или дочь могли бы заметить и очень бы удивились, пришлось бы что-то говорить, превратить в шутку, а превращать не хотелось.

Мехти заказал такси, это было дешевле, чем брать такси с улицы, а на транспорте, на автобусе, он бы добирался до места минут сорок, это было недопустимо, – нельзя столько заставлять ждать друга, которого давно не видел, – и поехал в ресторан, где ждал его Самир. Они не виделись почти тридцать лет, и он немного волновался: каким окажется Самир? Ведь люди меняются. Таким же он будет шебутным, рубахой-парнем, каким был в юности, или остепенился? Конечно, остепенился, недаром в Лондоне живет, это тебе, брат, не родной город, где можешь показывать свой характер, там тебя живо скрутят акулы капитализма; хотя сейчас и у нас акул хватает, да таких, что фору дадут всем лондонам вместе взятым, но, надеюсь, Самир не из таких, он же как-никак – художник, с тонкой душой, умеющий видеть то, что другим недоступно, и умеющий из этого невидимого создавать произведения искусства – свойство, которому можно позавидовать, от души позавидовать… С такими мыслями в голове Мехти доехал, наконец, до ресторана. В дверях главного помещения стояли двое молодых людей в черных костюмах при галстуках. Мехти окинул их взглядом – они были одеты лучше, чем он, но у него в связи с этим не появилось никакого комплекса, что вот, мол, они одеты лучше, эти официанты, или как их там, охрана, скорее всего, вышибалы, хотя вышибать здесь было некого, публика вполне солидная, сюда часто ходили семьями, справляли дни рождений.

– Тебе куда, дядя? – бесцеремонно спросил один из парней.

Он назвал Самира.

– Он меня ждет, мой друг, – прибавил он на всякий случай.

– О-о! Самир-муаллим! Сюда, пожалуйста, сюда, я провожу, – подобострастно даже с полупоклоном, показывая рукой, словно собираясь нырнуть и проплыть стилем кроль, проговорил парень и пошел впереди Мехти, провожая туда, где ждет его друг. – Самир-муаллим! Вот это человек! Сразу видно, мужик с яйцами…

– Да? – спросил Мехти.

– Конечно! – с готовностью подтвердил парень. – Железный мужик!

Это был совсем другой человек, и когда он поднялся из-за стола навстречу другу и искренне радостно вскрикнул, приветствуя Мехти, тот убедился, что голос – это единственное, что осталось почти неизменным от его старого школьного друга. «А ты что думал? – укорил он самого себя. – Что он останется таким же, каким был тридцать лет назад? Время-то идет…» Он бы еще много чего подумал по своей привычке и инертному характеру, но тут был заключен в крепкие объятия Самира, был очень кстати встряхнут, оторван на несколько мгновений от пола и опять поставлен обратно на ноги в старых, поношенных туфлях.

– Ты совсем не изменился, – сказал Самир, разглядывая его с ног до головы своими быстрыми, зоркими глазами.

– Неужели? – вполне серьезно спросил Мехти.

– Ну, может, немного только, – поправился Самир. – А так – прежний Мехти… Усы отпустил… А ты что не следуешь моде? Легкая небритость или аккуратная бородка, а? Все ведь ходят теперь заросшими…

– Но ты же нет, – сказал Мехти и теперь только, глядя на друга юности, почувствовал, что по-настоящему рад его видеть, что даже соскучился по нему, хотя давно не вспоминал – ничего не поделаешь, разошлись пути-дорожки. Вот каким он

стал… как это сказать? – маститым, матерым… Сразу видно: хозяин жизни, не то, что он, Мехти, который еле справляется с проблемами своей маленькой семьи…

– Я – нет! – немного слишком гордо ответил Самир. – Я же, ты знаешь, всегда шел наперекор всему, также и наперекор моде, противоречить которой не так-то просто… Но… такой уж у меня характер. Мне обязательно надо идти против… Вот мода пошла: все, кому не лень, отращивают растительность на мордах, кому идет, кому не идет, кто на человека похож, кто на козла… У всех рожи в волосах. Не люблю. Надо же глаза иметь: не идет тебе, не делай, мало что мода… Одно слово – толпа, массы… А зачем отращивают, непонятно…

– Может, чтобы отличаться от женщин, – решил слегка пошутить Мехти.

Но эта легкая шутка, вопреки ожиданиям его, вызвала у Самира гомерический, неестественный хохот. Смеялся он тоже как-то по-хозяйски, с широкими жестами, запрокинув голову, с какой-то показухой: мол, я везде – как у себя дома.

– Чтобы отличаться от… Ха-ха-ха!.. Чтобы от… Ха-ха-ха! От… от женщин… – задыхаясь от смеха, повторял Самир. – Ну, ты сказал!.. Ха-ха-ха…

Мехти терпеливо ждал, стараясь удержать на лице напряженную улыбку, чтобы не обидеть друга.

– Это точно! – отхохотавшись, произнес Самир. – Теперешних мужчин не отличишь от слабого пола. Противно. Это разве мужики!? Каждый второй – педик…

Тут он запнулся, видимо, и сам понял, что наплел лишнего совсем не к месту, с другом встретился через столько лет, а болтает о пустяках. И потом, если каждый второй, то выходит – один из них… Он мысленно постучал себя по лбу: думать надо, когда говоришь!

Мехти сел за стол, повинуясь хозяйскому жесту Самира. Здесь уже многое было подано, красиво сервировано, холодные закуски, выпивка, напитки, но ничего не тронуто, тарелка перед Самиром была девственно чиста…

– Как задница моллы, – вдруг вспомнил Мехти, поглядев на тарелку, сказал и тихо засмеялся.

– Что? – не понял Самир. – Какая задница?

– Не помнишь? Отец твой говорил: холодильник у нас чист, как задница моллы… Кстати, как он? Как родители?

– Отец умер давно, – сказал Самир. – А теперь и мама… Я на похороны её прилетел, не успел, сам понимаешь, пока то, сё, дела задержали, разные договора, контракты, приходилось соответствовать, там с этим строго… Прилетел, а её уже давно похоронили… родственники. Теперь вот квартиру старую продаю, то есть, уже продал, некому там оставаться, так что… Ты о себе расскажи, как ты? Женат, конечно, да?..

– Да, конечно, уже дети взрослые… А ты как… как сложилось?

– Нет, я не женился, все холостой хожу… Бедная мама… Так и умерла, не увидев меня остепенившимся семьянином. Говорила, когда звонил ей: ты хоть там женись, кто за тобой приглядит в старости…

– Что ж так?

– Да дел столько было, да и сейчас, наша профессия требует полной самоотдачи, я всю жизнь посвятил ей, она моя жена, моя подруга, моя мать… - несколько патетически, высокопарно заявил Самир. - Да… А ты как, делаешь успехи?

– Какое там успехи! Я давно забросил это… это ремесло… эту профессию, – с опозданием поправился Мехти, помня даже сейчас, как не нравилось другу слово «ремесло».

«Я не ремесленник, – говорил он гордо, еще будучи совсем молодым, подающим надежды студентом художественного училища. – Я художник, творец!». И Мехти тогда становилось немного неловко за друга, за произнесенные им такие громкие слова, которых он, Мехти, всегда старался обходить, не применять; он теперь вспомнил это, поправился и продолжил:

– Хоть с опозданием понял, что это не мое. Ты – другое дело. Ты был настоящий талант. – И заметив, как передернулся Самир, Мехти тут же прибавил. – Ты и сейчас талант, нелегкое дело проявить себя в таком месте, как Лондон, центр Европы, столица искусств…

Мехти не привык тщательно выбирать при разговоре слова, выбирать выражения, он обычно имел дело преимущественно с рабочим людом, где не очень-то следили за своими словами и выражениями, говорили, как на язык ляжет, лишь бы было понятно; но здесь, с Самиром, он чувствовал: выражения приходилось выбирать и следить за языком, чтобы ненароком не ляпнуть что-то обидное для друга. Это немного напрягало и было несколько утомительно, поэтому в разговоре, который, как обоим им казалось, должен был литься легко и непринужденно, все чаще стали появляться напряженные моменты.

– Вообще-то столица искусств – это Париж, – усмехнулся Самир. – Но и Лондон конечно, не отстает…

И теперь оба вдруг отчетливо почувствовали, что разговор стал напряженным, что не о том они говорят почти после тридцатилетней разлуки; слова и тому, и другому давались как-то через силу, выговаривались трудно, и обоим хотелось прекратить этот потерявший свой едва наметившийся в начале накатанный путь, неудачно свернувший не туда разговор. Первым нашелся Самир, выведя их из неловкого положения.

– Ну, друг юности далекой, – далекой, но не забытой, давай-ка мы с тобой хлопнем по маленькой, выпьем и станем искреннее, как сказал поэт, – и он стал разливать водку по рюмкам, остановив жестом подлетевшего к их столику официанта. – Ты отдыхай, позовем, когда надо, – обратился он к официанту. – Я сам буду обслуживать своего дорогого друга.

Эта фраза вышла у него вполне естественно, и глаза его светились добротой. Мехти понравилось, что подобные фразы его друг может произносить так непринужденно, чего сам он не умел, ему было бы даже трудно произнести слова: «Дорогой друг», что-то искусственное в них было для него, что-то смахивающее на начало некролога.

По дороге сюда, в такси, Мехти казалось, как много он может рассказать давнему другу такого из своей жизни, что даже жене не расскажешь, хотя она у него замечательная, понимающая, но Самир… Самир – совсем другое дело, ему можно рассказать то, что мужчина может рассказать близкому по духу мужчине, ведь у него с тех пор, как уехал Самир искать счастья в чужие края, никогда не было таких друзей, которым он мог бы открыть свое сердце; и он предвкушал предстоящее общение, радовался и заранее обкатывал фразы, которые скажет другу.

Но Самир, как и прежде бывало, сразу перехватил инициативу, и мысли, которыми хотел поделиться Мехти, постепенно стали бледнеть, захирели и исчезли, как исчезают тени на стене от постепенно гаснущей свечи.

И они выпили по маленькой, потом сразу еще по маленькой, и обстановка немного разрядилась. Мехти, даже не помнивший, когда в последний раз выпивал, не-

много захмелел, Самир показался ему вдруг очень близким, родным, совсем другим человеком, не таким, как в начале их встречи, и ему захотелось обнять старого друга, рассказать ему о своей вполне заурядной жизни мелкого служащего, впрочем, полной совсем незаурядных случаев и происшествий, которые другу, наверное, было бы скучно выслушивать – ведь он не обычный человек, художник! Ему захотелось послушать Самира, узнать, как он живет, что делал все эти долгие годы, за которые он, Мехти, ничего не добился, а друг стал прославленным художником, как он слышал от многих знакомых, встречаемых им в разное время в родном городе.

– Знаешь, – между тем говорил Самир рассеянно слушавшему его Мехти. – Ну разумеется, ты знаешь, что это я? Об этом весь город говорит. Я уехал сначала в Москву, поступил в Суриковский, но потом бросил… Три года проучился, бросил с третьего курса…

– Почему?! – искренне удивился Мехти, в его понимании Суриковский институт, выпускниками которого являлись знаменитые художники, был пределом мечтаний для любого начинающего живописца, графика, скульптора. – Бросил такой институт!..

– Э-э… Ничего особенного, – явно рисуясь, лениво произнес Самир. – Слишком академично все там было. Мне порой преподаватели напоминали нашего старого, бездарного школьного учителя рисования, мир праху его. Надоело… И отправился прямиком в Лондон. Вот где школа! Настоящая школа! Лондонская школа живописи. Я стал приверженцем творчества Люсьена Майкла Фрейда, он художник-фигуративист, великий наблюдатель за людьми…

– Я, знаешь ли, давно отошел от этих дел, – признался Мехти, – да с самого начала было ясно: какой из меня художник! Хорошо – сразу понял, занялся делом, детей надо ставить на ноги, семья все же… Теперь в голове у меня одни только бытовые проблемы и идеи, далекие от творчества, – он виновато улыбнулся, тыкая вилкой в салат и уже в который раз роняя с вилки дольку огурца.

Самир, казалось, с сожалением смотрел на него, но, не желая обидеть друга, проговорил:

– Ну и правильно. Каждый должен заниматься делом, к которому призван. Тогда и результат будет хороший. А чем ты занимаешься, если не секрет? Да возьми ты рукой! Оставь вилку. И ешь нормально, что ты как птичка клюешь?.. Ну, говори…

– Да никакого секрета, – тут же ответил Мехти. – Я старший инспектор районного отделения по распределению электроэнергии, работаю в государственной компании, очень солидная организация. Не в самом, конечно, министерстве энергетики, но тоже неплохо, жить можно…

– Главное, чтобы тебе нравилось, – поддержал друга Самир. – Чтобы, как говорится, на работу шел, ликуя, и с работы домой – пританцовывая…

– Ну, не совсем так, конечно, – рассмеялся Мехти. – Но, по крайней мере, не противно, жить можно… А у тебя там, в Лондоне… тоже, значит, семьи нет?.. Так ни разу и не женился?

– Нет, дорогой, ни разу, ни полраза, я не создан для семьи, – сказал Самир. – Загулял с самого начала, так что уж как-нибудь догуляю… Не жениться же мне в мои годы… Смешно…

– А что тут смешного? – сказал Мехти. – Люди и постарше женятся. Чтобы не оставаться одному в старости.

– Э-э, друг мой ситцевый, крепдешиновый, – сказал Самир, поднимая рюмку. – Какой ты стал правильный. Давай-ка выпьем, о жизни покалякаем…

– А мы что делаем? Это и есть жизнь, – уверенно сказал Мехти. – Вот иногда мне кажется, что я ничего не добился, что нет главного в моем существовании, нет стержня, понимаешь? Не претворил, как говорится, мечту… Какой-то недовольный, сварливый голос во мне подбивает меня, портит настроение… А потом другой голос во мне говорит: не гневи Бога, у тебя прекрасная семья, жена, дети, ты ими доволен, они довольны тобой, несмотря ни на что… вы понимаете друг друга, что же может быть главнее в жизни человека?..

Пока они сидели за столом, слишком уж чрезмерно для двоих уставленным разными блюдами, телефон Самира беспрерывно звонил. Он бросал взгляд на высветившийся номер, но не отвечал, и можно было подумать, что это звонит один и тот же человек, решивший во что бы то ни стало добиться ответа на свой вызов. И то ли от этих уже нервирующих их обоих звонков, то ли от слишком уж угодливого официанта, снующего взад-вперед, то и дело заглядывающего к ним в кабинет узнать, довольны ли посетители, разговор тоже становился нервным, прерывистым, как дыхание астматика. Но Самиру это, видимо, не мешало похваляться и красочно рассказывать о своей богемной жизни в Лондоне, полной интересных приключений, связей, интриг, присущих исключительно миру искусства, то, чего не было и никогда не будет в жизни Мехти.

Мехти слушал его внимательно, но что-то в рассказе Самира настораживало, что-то было не до конца договорено, и общие места слишком уж походили на общеизвестные факты, которые можно было увидеть по телевизору, почерпнуть из Интернета, и ничего в них конкретного, что бы касалось непосредственно жизни друга далеко от родного города, не было, и создавалось впечатление, что Самир рассказывал о ком-то другом, кого они оба когда-то знали. Тем не менее уже заметно опьяневший Самир увлекся своим повествованием, и монолог его продолжался, накручивался, улетал в фантастические высоты. Мехти молча слушал, заметно погрустнев. Тепло, разлившееся в груди после того, как Самир назвал его: «Друг ситцевый, крепдешиновый…» – слова, выплывшие из детства, когда Самир часто шутливо к нему так обращался, – это тепло стало медленно таять. И чем дольше он слушал треп Самира, тем все больше чувство неловкости за друга охватывало его; Самир будто красовался перед другом, как в те далекие годы, когда он красовался перед старшеклассницами, выходя перед дверьми школы из такси, нанятом на чужие деньги.

– Там меня очень уважают, – продолжал Самир, не глядя на Мехти, не интересуясь даже, хочет он слушать или нет. – Да, скажу тебе, дело у них поставлено на уровне, не то, что в вашей провинции, то есть, я хотел сказать, в нашей провинции. Ну что у нас за школа живописи, что за художники… Я успел здесь посмотреть пару персональных выставок… ничего примечательного, ничего самобытного…

– Не согласен, – возразил Мехти, улучив паузу в рассказе Самира. – У нас очень сильные художники, во всяком случае, в Закавказье наша школа живописи считается самой интересной… Уж настолько, чтобы отличать в живописи белое от черного, я разбираюсь.

– Ну… в Закавказье… Надо мыслить в мировом масштабе, смотреть шире, искусство перешагивает через границы, товарищ, – понес явную околесицу Самир. – Я вот, кстати, выставлял свои работы в знаменитой галерее «Белый куб», ты, наверное, слышал, там выставлялись всемирно известные художники Англии…

Мехти молча покачал головой.

– Нет, не слышал?! – деланно удивился Самир. – Ну какой же ты темненький. Это была, конечно, не персональная выставка, но о моих картинах потом дала заметку всемирно известная газета «Индепендент»… Что, тоже не слышал? Как же вы тут живете, ничего не слыша?

– Я же, ты знаешь, не занимаюсь живописью, – сказал Мехти. – Не занимаюсь и не интересуюсь. Это была ошибка юности. Из меня такой же художник, как… как…

– Как что? – немного подождав и не дождавшись концовки, поинтересовался Самир.

– Как не знаю, что… – закончил Мехти и, покраснев, рассмеялся коротко, тихо, будто осуждая себя за косноязычие.

– Ну и ладно, – сказал вполне миролюбиво Самир. – В таком случае выпьем за то, чтобы каждый из нас на своем месте работал, получал бы удовольствие от своей работы и был бы удачлив, – и он вновь стал наполнять рюмки.

Мехти накрыл свою рюмку ладонью.

– Я больше не буду, – сказал он. – И тебе не советую.

– А мне зачем не советуешь? Меня никто не ждет. Могу напиться до чертиков…

– Ты что же, – спросил Мехти, – стал бухать? Это серьезно?

– Нет, что ты, – успокоил его друг. – Это только по поводу. Там я, можно сказать, мало пью, на разных тусовках, приемах, выставках, презентациях бокал-другой шампанского… Дон Периньон, и все дела…

Мехти неприятно кольнула эта дешевая детская бравада друга, но он промолчал, ничего не сказал.

Вскоре Самир, выпив в одиночестве еще несколько рюмок водки, опьянел по-настоящему, стал долго и тупо смотреть на Мехти, беспричинно качать головой, словно осуждая кого-то, звать без повода официанта, а когда тот входил в кабинет, Самир забывал, для чего звал его.

– А-а… Теперь я вижу тебя… Теперь ясно вижу… – с пьяной улыбкой проговорил Самир, шутливо погрозив пальцем и внимательно глядя в лицо ему мутным взглядом, насколько его мутный взгляд мог внимательно смотреть. – Теперь я вижу тебя, – повторил он со слишком подчеркнутой проницательностью, что вот, мол, раскусил. – Ты совсем не изменился. Тот же Мехти, молчаливый, замкнутый, весь в себе. – И Самир залился беспричинным пьяным смехом, но весело, победно, будто ему наконец-то удалось раскрыть какой-то большой секрет.

– И я тебя вижу, – спокойно ответил Мехти с улыбкой глядя на друга.

И правда в глазах Мехти в Самире – сегодняшнем, уже далеко не молодом, заметно потрепанном временем Самире, все больше проглядывали черты подростка, бесшабашного, дерзкого, готового ринуться в драку, если где-то в чем-то проглянет несправедливость, Самира трепача, щеголя, враля и пижона – черты, такие простительные в семнадцать лет, и такие симпатичные, если ими обладает твой юный друг, но такие странные для их теперешнего возраста.

И тут они обнялись, оба враз приподнялись из-за стола и обнялись. Это для обоих вышло так неожиданно и в то же время так естественно, как бывает, когда двое одновременно произнесут одно и то же слово, которое долго искали.

– Я пойду в туалет, – сказал Мехти, встал из-за стола и пошел к двери под пристальным взглядом Самира.

– Не пробуй там платить, – сказал Самир. – Насквозь тебя вижу. В туалет он пойдет… Меня и моих друзей здесь кормят бесплатно.

– Как бесплатно? – удивился Мехти, но готов был поверить.

– Мне здесь открыли счет, – сказал Самир, сопровождая слова широким хозяйским жестом.

– Да? – сказал Мехти и вышел в коридор, плотно притворив за собой дверь.

В коридоре он сразу же наткнулся на услужливого официанта, дежурившего, как часовой, у двери их кабинета.

Мехти подошел к нему.

– Я бы хотел уплатить по счету, – сказал Мехти. – Можно принести счет?

– Все уже уплачено, – с готовностью отозвался официант. – Самир-муаллим уплатил.

– Самир-муаллим уплатил? – стал уточнять Мехти. – Уплатил?.. Деньгами?..

– А чем же еще? – улыбнулся официант, блеснув золотым зубом. – Конечно, деньгами.

– А ему здесь… счет… говорит… – пробормотал Мехти и запнулся под непонимающим взглядом официанта.

– Что? – спросил официант.

– Ничего, – сказал Мехти. – Где здесь туалет?

Официант молча показал рукой.

Мехти вошел в туалет, бесцельно потоптался, помыл зачем-то руки и через минуту вышел.

Когда он вошел в кабинет, Самир сидел за столом, отодвинув тарелки, положив локти на стол, обхватив руками голову и бессмысленным взглядом уставившись перед собой.

– Не пора ли нам проветриться? – не садясь на свое место, поглядев некоторое время на друга, предложил Мехти.

Самир поднял на него мутный взгляд и мелко покивал головой.

Когда они вышли на свежий воздух (вряд ли его можно было назвать свежим в этом донельзя загазованном районе города), и Самир немного протрезвел и смотрел на приятеля не таким уж бессмысленным взглядом, как в ресторане, между ними как-то вдруг, спонтанно, начался новый этап в разговоре, который можно было бы охарактеризовать коротко «А помнишь?...» И давние друзья стали вспоминать далекие годы, и много смешного, веселого, грустного, невозвратного подкидывала благодарная память и тому, и другому. Они медленно шагали по улице – Самир приобнял друга за плечи – и то и дело останавливались, вспомнив что-то интересное, полузабытое, поправляя друг друга, уточняя, порой прибавляя и фантазируя (это, конечно, Самир), но, натыкаясь на жесткую цензуру, возвращавшую воспоминания в реальное русло (а это уже Мехти), какими они и должны были быть. И смеялись от души, хохотали до слез.

– А помнишь, как ты меня облевал, когда спускались с крыши? – говорил Самир. – А директор школы снизу, со двора, кричала: «Немедленно за родителями, оба, оба, оба!»

– А помнишь, как пришел в школу твой папа, поговорил со сторожем вместо директора и ушел? – вспоминал Мехти.

– А помнишь, как мы в туалете пили портвейн «Три семерки»? Вошел учитель физкультуры, и ты с бутылкой в руках сказал, что просто привык подмываться в туалете, – смеясь, проговорил Самир.

– А помнишь золотозубого Рамиза? У него все зубы были в золотых коронках.

Он приходил к нам в школу с нагорного блатного квартала, постоянно глупо улыбался до ушей, сверкая зубами, и мы прозвали его «Роллс-ройсом» за ослепительный передок, хотя эту машину в то время видели только на картинках.

– А как прибили в коридоре гвоздями калоши физика! Он влез в них и растянулся! Школа задрожала…

– А соревнование в туалете, кто выше пописает на стенку? Ха-ха-ха!...

– А помнишь, ха-ха-ха… – заранее смеясь, спросил Мехти, – как на уроке гражданской обороны нас учили надевать противогазы, и ты все кричал с последней парты: «Газы пускать!?».

– А помнишь?...

– А помнишь?...

Эти внезапно нахлынувшие воспоминания привнесли теплую атмосферу в их общение, чего не было в ресторане и что они оба тщетно старались нащупать в напряженном, не совсем искренном разговоре за столом, ломившемся от яств. Теперь оба почувствовали себя очень раскованно, будто и не было почти трех десятков лет, прервавших их юношескую школьную дружбу, будто только вчера они закончили школу, закончили художественное училище и готовились выйти, устремиться, ворваться в большую, настоящую жизнь, ожидавшую их с нетерпением, и сердца их были полны честолюбивых помыслов и мечтаний.

– Теперь я тебе признаюсь, как на самом деле обстоят мои дела, – внезапно посуровев после глубокой задумчивости, когда, казалось, он обдумывал и принимал какое-то важное решение, остановив друга посреди улицы и взяв его за плечи, несколько загадочно произнес Самир. Но взгляд его был далеко не веселым, как минуту назад.

Мехти посмотрел на него и почувствовал неладное, как в юности, когда они могли по глазам друг друга угадывать хорошие или плохие вести.

– Для этого надо было напиться, или мы все-таки остались друзьями? – поинтересовался Мехти.

– Конечно, остались, – кивнул Самир. – Но это я могу сказать только тебе. Теперь, когда я совсем один в этом городе, у меня только один близкий человек – это ты…

Мехти, непривычный к подобным признаниям, снова почувствовал себя немного неловко.

– Тебе не скучно то, что я тебе рассказываю?

– Нет, нет, что ты! – возразил Мехти. – Но ты пока ничего не рассказал… Говори, пожалуйста. Мне интересно все, что происходило с тобой в эти годы. Мне самому, как ты понял, особо рассказывать нечего. Женился, семья, работа, все как у всех, все обычно, обыденно, но я доволен… Так что, считай, что о себе я уже тебе рассказал. Продолжай, я, кажется, перебил?..

– Нет, ничего, – сказал Самир и надолго замолчал.

Мехти не мешал, терпеливо ожидая, чувствуя, что друг непременно должен высказаться, и понимая, как это порой необходимо одинокому человеку.

– В сорок три перенес инфаркт. Чудом выкарабкался.

– Что ты?! – участливо воскликнул Мехти. – Так тебе же, наверное, пить нельзя, – проговорил Мехти с такой неподдельной тревогой в голосе, что Самир, тепло улыбнувшись, посмотрел на него. – А ты что делаешь?! Что ж ты не бережешь себя?

– Для чего? Для кого? – произнес Самир и опять надолго задумался.

Они шагали по безлюдной улице, и ни один, ни другой не знали, куда их выведет эта улица.

– После инфаркта, – продолжал Самир, – врачи советовали мне сделать шунтирование. Но я не стал, не согласился.

– И очень напрасно. Очень глупо.

– Зачем? Сколько мне отведено Богом, столько я и буду жить, а больше мне и не надо. Живу пока… Знаешь, я до инфаркта спал голым, как привык с бабами… Ну и, когда один, тоже, привык, так было свободнее, вольготнее. А после инфаркта машинально стал надевать на ночь трусы, я вдруг осознал, что боюсь… Боюсь, что внезапно во сне… придут, а я, то есть, тело – голое. Правда, мертвые сраму не имут… Знаешь такую поговорку? Да, я как видишь, российская штучка… но, тем не менее, голым как-то неловко… Жил в Москве, теперь – в провинции, в глубокой, надо сказать, провинции… Российская глубинка, не скажу где, а то вдруг еще в гости завалишься. Хотя здесь, в родном городе, намного лучше, растете и вширь, и ввысь. У меня две родины.

Мехти слушал его, не перебивая, почувствовал вдруг, что это был настоящий Самир. А тот неожиданно остановился, повернулся лицом к Мехти, заглянул ему в глаза. Мехти не отвел взгляда, выжидая.

– Да, у меня была эта искорка таланта, – сказал Самир, будто что-то доказывая самому себе. – Искорка, которую легко было загасить и которой, как ты правильно признаешься, не было у тебя. Да, но как я с ней обошелся, как утратил! Впрочем, все довольно банально. Я возгордился, возомнил себя гением, только потому, что мои ученические работы были, как я думал, оригинальны, стал ершиться, выпендриваться, не хотел по-настоящему учиться, трудиться, потом еще хуже: стал все чаще ударяться в халтурку, зарабатывать, как ремесленник, не искусством, а ремеслом, понимаешь? Вполне обычная история, многие безмозглые молодые люди, когда-то подававшие надежды, так вот угробили себя. Все очень банально. Афиши, плакаты и прочая дешевая хрень… Появились деньги, вполне солидные для студента, и закрутилось-завертелось… Не знаю, почему я тебе все это рассказываю, это ведь только моя проблема, да и интересного мало.

– Нет, – возразил Мехти, – продолжай.

– Правда? Ты сочувствуешь другу? – Самир улыбнулся грустной улыбкой, моментально сошедшей с лица.

– Смотря, какая будет концовка, – ответил Мехти на вопрос друга.

– Очень печальная. Для одного меня печальная, – сказал Самир, – никому больше и дела нет до всего этого, – он помолчал, шагая дальше по неизвестной ночной улочке с Мехти.

– Ну вот, – продолжил Самир. – Деньги, девчонки, гусарство, пьянки, бравада, пижонство. Стыдно вспомнить, но с другой стороны, когда это было… Я был молод, хотел перебеситься. Нет, я не оправдываюсь. Как можно оправдываться, когда сломал себе жизнь… И наконец меня исключили из Суриковского, да и пьяная драка тут кстати подвернулась, когда я избил преподавателя, по всем статьям я шел на исключение. Но я уже загулял, загудел, мне было пофиг. Да, я в самом деле ездил в Лондон, но кому я там был нужен, когда к тому времени я уже был выжат до конца и ничего путного не умел. Вернулся в Москву. Весь этот треп, что за столом я навешал тебе, прости… Все пижонство, ничего настоящего… Смотри! – вдруг сказал Самир, полез во внутренний карман пиджака и вытащил внушительную пачку зеле-

ных купюр. – Это деньги за квартиру. Я продал квартиру, где жила покойная мать, уже обменял на доллары… И знаешь, что я намерен делать? Я поеду к себе, в российскую глубинку, провинцию, и буду там жить тихо, как мышь, как тень, как мне, бездарю, и следует жить, буду проживать эти деньги… Так что мне особо следить за здоровьем даже не нужно. Нет, не думай, я не стал пьяницей, не стал наркоманом, не стал игроком, теперь я не швыряю деньгами, да и на баб уже не трачу, теперь обычно они тратят на меня, – вновь на миг в Самире проглянула хвастливость и тут же погасла, так что можно было подумать – привиделось. Мехти так и подумал. Ему очень хотелось, чтобы его друг детства оставался хорошим человеком в душе, даже несмотря на всю его порой искусственность, пустопорожнюю болтовню, неестественность, которая временами выглядывала из естества Самира.

– Да, эти деньги я буду просто проживать, – повторил Самир. – Надеюсь, их хватит… потому что, думаю, уже недолго осталось… Ох, давай присядем… Что-то мне…

– Что?! – встревожено спросил Мехти.

– Не бойся – сказал Самир. – Это со мной часто бывает.

Здесь, на улице, никаких скамеек не было, и они присели на край тротуара. Была уже ночь, изредка по этой улочке проезжали машины, и совсем не встречались прохожие.

– И теперь зато я твердо знаю, какое у меня предназначение в этой жизни. Наблюдать. Я пришел к этому недавно. И мне это нравится. До того, как я понял, я наделал много ошибок, много раз спотыкался, падал, вставал на ноги, побитый, набравшись опыта, который опять же не использовал, который меня, дурака, ничему не научил, и потому снова падал, и снова поднимался… но теперь я знаю: не надо суетиться, выпячивать себя, стремиться к чему-то непонятно зачем… То, что я наболтал тебе за столом и как старался показаться, – это так, из старой жизни, каким я был прежде… Чтобы ты знал… А каким я был?.. Пустышкой, чванливым идиотом, тщеславным, непомерно честолюбивым, заблудившимся в жизни, не нашедшим своего места… Теперь я твердо знаю: моё предназначение – наблюдать за людьми. Ты не представляешь, как это интересно, страшно интересно, сколько в них разного, непохожего одно на другое, сколько противоречивого, сколько во всех нас, во мне, в тебе… И я с недавних пор понял, что это профессия – наблюдать за людьми, за их поступками, словами, поведением, улыбками, характером, агрессией, всем, всем, что есть в человеке, что Бог вложил в него, а сам человек развил те или иные качества в зависимости от жизненных обстоятельств, одни развил и продолжил, а другие качества оставил в зачаточном состоянии. Наблюдать за людьми. Ты скажешь, что и художники, и писатели наблюдают вот так вот, но это совсем не то, они не свободны, они наблюдают и изучают, чтобы потом использовать, создать и поделиться, и прославиться, и заработать… А тут – совершенная свобода, я не хочу делиться своими наблюдениями, не хочу зарабатывать на этом славу и деньги; писатели и художники – люди несвободные, им обязательно надо что-то создавать, что-то доказывать, гоняться, принимать участие в гонках на первенство, получать призы и грамоты, как скаковая лошадь, что пришла первой к финишу. Они несвободны и слишком практичны. Я бы даже сказал: меркантильны с ног до головы. Нет, только наблюдать, наблюдать и думать, и это будет только твое, потому что если записывать, то всегда присутствует тайная, еще не до конца осознанная мыслишка – поделиться, обнародовать когда-нибудь, создать и преподнести, осчастливить человечество… Нет, не

моё… Что может быть интереснее и возвышеннее, чем просто наблюдать? – он замолчал, поглядел на друга.

– Ну, что молчишь? – спросил после паузы Самир. – Презираешь меня за то, что никем не стал? Что ж, я был готов к подобной твоей реакции.

– Нет, – сказал Мехти.

Самир молча внимательно поглядел ему в лицо.

– Ты здесь был единственным человеком, с которым я хотел повидаться. И я благодарен своей судьбе, своей юности, что у меня был такой товарищ, – сказал он после долгого молчания, что теперь ни тому, ни другому не было в тягость.

Он поднялся с тротуара.

– Вот так, – сказал Самир. – Я хотел с тобой поговорить, рассказать тебе все, я это сделал. И, кажется, мне стало легче… А теперь уходи. Мы здесь расстанемся. Иди.

В голосе Самира вновь прозвучали приказные нотки, тон, которым эти фразы были им сказаны, вернул Мехти на мгновение в их юность, когда друг верховодил и командовал, но, тем не менее, это не мешало их дружбе.

Мехти смотрел вслед уходящему Самиру, и тут память услужливо напомнила, подкинула ему недавний сон, в котором внезапно, не прощаясь, беспричинно, резко отвернувшись от него, удалялся по улице постаревший друг детства.

– Наблюдатель, – негромко проговорил Мехти, глядя, как высокая сутулая фигура растворяется в ночной мгле…

Будто его и не было вовсе… – подумал Мехти.

Он вспомнил эпизод из далекого детства, как Самир расплачивался чужими деньгами с таксистом у дверей школы и с нахальной горделивостью поглядывал на старшеклассниц, выходивших на улицу.

– Наблюдатель, – тихо повторил он, словно пробуя это слово на вкус, на реальность, на искренность, много ли в нем, в этом слове правды.

И тут ему стало страшно за друга, и он до боли в груди пронзительно почувствовал, как Самир все эти годы проживал множество своих ненастоящих жизней, как метался из одной крайности в другую, стараясь казаться не тем, кто он есть; и в то же время, словно озарение, вспыхнуло в нем понимание того, что они двое – единственные близкие люди на всем белом свете.

Он побежал следом за Самиром в темноту ночи.

– Эй! Постой! – крикнул он в пустоту.

Но никто не откликнулся, не отозвался из темноты. Нет, не догонишь, не вернешь…

…Если сильно зажмуриться и потом мгновенно распахнуть глаза, то в яркой синеве неба появятся мелкие звездные крапинки, похожие на пузырьки, как много-много лет назад, в детстве…

ЕЛИЗАВЕТА КАСУМОВА

Улица

Улица покачивалась,
Текла толпою,
Улица в неоне
Прятала лицо.
Огненной жар-птицей –
Рыжее, большое, –
Медью в небе плавилось
Лунное кольцо.
Улица раскрашена
Черным и оранжевым –
Ночью и лучами,
Протянутыми в ней,
Улица красуется
Женщиной разряженной,
Сильно приукрашенной –
В косметике огней.

Но настанет полночь,
Станет гулко, тихо,
И по руслу улицы
Утечет толпа.
Снимет ожерелье ламп
Улица-франтиха,
Улица зажмурится,
Станет слепа.
В темных лабиринтах
Сонного квартала
Умирают звуки,
Слышен лишь прибой.
Засыпает улица
Женщиной усталой
И опять становится
Самой собой.

Метаморфозы

С годами все становится иным –
Великое вдруг обернется малым,
У круга обнаружатся углы,
Прямоугольник выгнется овалом.

И идолы недавние падут,
И мы богаче станем и – беднее...
Случайно обернувшись на ходу,
Отметим с тихой грустью: мы – стареем.

Дозированная любовь

В нашем маленьком государстве,
В той стране, что зовется Любовь,
Принимаю тебя как лекарство –
В нужной дозе, не больше того.

В темной комнате у телевизора
Коротая тоскливый вечер,
Словно самый заправский провизор
Отмеряю по каплям встречи.
Если меньше – не будет толку,
Если больше – то только во вред.
Все продумано, взвешено... только
Может, вовсе не нужен рецепт?

Может, лучше, забыв про наказы,
Про расчеты и про дела,
Выпить все, что отпущено, сразу –
Будь, что будет, была – не была!

Здравствуй, море

Здравствуй, море –
Простор и воля! –
Голубое,
Родное до боли...
Море, море мое,
Ты осталось
Таким же, как прежде –
Добрым другом и верным.
Только я прихожу к тебе
Реже и реже –
Потому что старею,
Наверное.
В этом мире большом,
Проживая
Меж адом и раем,
Мы не только друзей –
Цель явленья на свет
Забываем.
Бьемся
Между стремлением ввысь
И тягой к покою.
Но опять я, опять,
Беспокойное,
Рядом с тобою.
Замирая,
Твой шепот влажный
Вновь ловлю сухими губами...
Море, море, про это не скажешь
Никакими словами.

Певчая птица

У соседей птица
Певчая живет.
Только эта птица
В клетке не поет.
В клеточном уюте,
На готовой пище!..
А она не любит
Своего жилища.
Видно, ей в удобной
И добротной клетке
Хуже, чем на голой,
Облетевшей ветке.

Пусть в лесу озябшем,
Пусть в продрогшем поле,
Пусть под хмурым небом –
Только бы на воле!

Синие кони

У самого горизонта,
Где с небом сливается море
В голубом поцелуе,
Рождаются синие кони.
Их к берегу ветер гонит,
И синие кони мчатся
К берегу все быстрее –
Выгнуто спины синеют,
Плещутся белые гривы,
В щедрых лучах сверкая...
Но на берег выбегая,
Словно падая на бегу,
Они на песок оседают
И медленно умирают
На выжженном берегу.

Не говорите о любви

Не говорите о любви
Пустыми, пошлыми словами –
Она зачахнет от тоски,
Захватанная языками.
Ну как сказать о высоте,
О вдаль летящей белой стае? –
Мы, говоря о красоте,
Ее словами убиваем.
Любовь прекрасна без прикрас,
Она не просит воспеванья,
Ни пошлых слов,
Ни пышных фраз –
Лишь пониманья и молчанья.

Пока могла...

Былые возлюбленные,
Ныне разлюбленные,
Бывшие жизни сутью,
Не обессудьте:
Я вас любила
И берегла –
Не до могилы,
Пока могла...

Не задел

Ты – дождь,
что надо мной хотел пролиться,
Но не задел,
прошлепал стороной.
Ты – песня,
не сумевшая родиться,
Ты – книга,
недочитанная мной.

Ты книга,
начатая без желанья,
От скуки –
равнодушье и ленца,
Оставленная мной
от предсознанья
Банальности
счастливого конца.

Если б...

Если б все было в мире мажорно,
Было б скучно на свете жить.

И без белой вороны средь черных
Было б скучно на свете жить.

Если б море было без штормов,
Я б не стала у моря жить.

Если б был ты всегда покорным,
Я б не стала тебя любить...

Прощальное

Расходятся наши дороги
Все больше и больше, любимый.
Ты станешь одним из многих –
Так близко прошедший мимо.

Каждая наша ссора
Что-то с собой уносит –
Как будто бы поезд скорый
Тебя от меня увозит.

Мы злобой друг друга мучаем,
Не в силах прервать охлаждения –
Так камень, сорвавшись с кручи,
Не в силах прервать падения.

Холод и равнодушье
В сердца пробираются наши…
Видно, добрался до суши
Наш кораблик бумажный.

Холодным утром

Дохнуть на стылое стекло
И сквозь туман взглянуть на город –
Как будто все заволокло
Прозрачной из нейлона шторой.
И город сказочен и тих,
Реален будто и – миражен,
И мягок, плавен, будто сглажен
Дыханием из губ моих.

В этом городе южном

В этом городе южном
В старом парке растут
Олеандры и груши,
И маслины, и тут.

И средь южной символики,
Средь акаций и роз,
Выделяются стволики
Белоснежных берез.

Из далекого племени,
Из нездешней земли,
Посреди вечной зелени
Их ростки проросли.

Дни тянулись неспешно,
Проходили года,
Грело солнце их здешнее
И поила вода.

Жили с лавром и тополем
Они миром одним,
И края эти теплые
Стали родиной им.

И без этих деревьев,
И без этой земли
Даже малое время
Жить не смогут они.

Небо, солнце, деревья...

Что есть лучше хорошей погоды?
Что есть лучше – в тщете бытия
Ощутить себя частью природы:
Небо, солнце, деревья и – я.

Гляну в небо – и с чайкой сравняюсь,
Брошусь в море – и стану волной,
В лес войду – и в траве затеряюсь,
Став ромашкою луговой.

Я больна, коль природа болеет,
И не знаю, кому больней,
И с годами сильней и сильнее
Единенье святое с ней.

Элегия

Жила-была когда-то я.
Вернее, не жила – парила,
Взлетая птицей легкокрылой
Над серой скукой бытия.

И жизнь казалась светлым раем,
Когда парила я, легка,
На землю грешную взирая
Сквозь розовые облака...

Но людям в небе невозможно,
И жизнь меня с жестокой силой
На землю властно опустила,
Мои мечтанья сделав ложью.

И жизни истинные краски
Я научилась различать –
Я разгляжу под светлой маской
Жестокий облик палача.

Теперь, секреты жизни зная,
Я без труда определяю,
Где – светлый ангел, где – змея.

Но, дни былые вспоминая,
Я с тихой грустью понимаю,
Что я теперь совсем другая,
Вернее, вовсе и не я.

Живу не сердцем, а расчетом,
Дни серые с тоской листая,
Но ощущение полета
Я помню, хоть и не летаю.

Пусть изменило все окраску,
Покуда вертится земля, –
Не вообще, а для меня, –
Я буду помнить эту сказку:
Жила-была когда то я...

ИБРАГИМ МЕЛИКОВ

ФИЛОСОФСКИЙ СМЫСЛ ТВОРЧЕСТВА НАСИМИ

Имадеддин Насими – безусловно, один из величайших азербайджанского поэтов народа. Однако этим не ограничивается его место в азербайджанской культуре. Насими – гораздо больше, чем просто поэт.

Дело в том, что в каждой культуре есть ключевая фигура, которая отражает ее главную идею. Такой фигурой, к примеру, для китайской культуры является Конфуций, а для европейской – Аристотель. И мы никогда не сможем понять ту или иную культуру, если не усвоим ее главную идею, которую олицетворяет соответствующий носитель.

И такой фигурой для азербайджанской культуры выступает именно Имадеддин Насими. Почему? На это указывают три обстоятельства.

Первое обстоятельство связано с тем, что Насими – суфий, как Низами, Физули и многие азербайджанские поэты прошлого. Суфизм, как известно, – мистическое направление в исламе. Однако для азербайджанской культуры это еще и отражение ее главной идеи, поскольку мистицизм является азербайджанским специфическим этнокультурным феноменом.

Мистицизм играет особую роль в жизни азербайджанского народа, определяя на протяжении всей истории его культуру и весь образ жизни. В азербайджанской культуре на самом деле всегда утверждались только те ценности, которые имеют мистические основания. В середине VII века Азербайджан принимает ислам, но Азербайджан был и остается не столько религиозной землей, сколько землей мистической. Не столько форма, ритуалы и обряды ислама, сколько его сокровенное содержание, мистика были восприняты и усвоены душой народа. В исламе существовало множество направлений, и религиозность принимала разнообразные формы. Но в Азербайджане укоренялись только те формы, которые основывались, прежде всего, на мистике. И чем глубже в них была мистичность, тем легче и глубже они утверждались. «Имеется целый ряд доказательств, указывающих на существование суфизма в Азербайджане с самых ранних периодов. Сначала нужно отметить то, что в некоторых источниках сообщается, что в Азербайджане находится могила Вейсала аль-Гарани (ум. в 675), который жил во времена пророка Мохаммеда и который считается одним из важнейших представителей суфизма. Кроме того, в Книге Деде Горгуда, которая считается древним эпосом тюркских народов, встречаются мотивы, повествующие о суфизме. Изучение почитаемых святых мест (пиров), могил, памятников и надгробных надписей показывает, что суфизм являлся одним из широко распространённых общественно-философских течений на данной территории», – пишет Али Гайдар.

Более того, следует отметить, что XII век считается началом периода тарикатов (дервишских орденов). «Примечательно то, что среди возникших в то время орденов, – утверждает Али Гайдар, – ведущее место занимали тарикаты, созданные азербайджанскими суфиями. Дело в том, что, начиная именно с этого периода, территория Азербайджана стала превращаться в центр дервишских орденов. Здесь возникли и распространились на весь исламский мир такие тарикаты, как хуруфизм, сухревердийе,

захидийе, сефевийе, халветийе, а также ровшанийе и гюлшанийе, которые считаются ветвями халветийе, и анатолийская ветвь суфийского движения Ахи».

Примечательно, что в Азербайджане из непосредственных служителей Богу особо почитались прежде всего дервиши – странствующие отшельники-мистики.

«В итоге нужно отметить, что суфизм распространился и оставил глубокий след в Азербайджане, как и в других мусульманских обществах, и всё это свидетельствует о социально-общественной значимости и важности его положения в жизни данных обществ. В настоящее время существующие в Азербайджане святые места (пиры) и иные святилища, а также суфийские кельи, преодолев все преграды и бедствия истории, дошли до наших дней, увековечив свои имена. Суфизм в Азербайджане повлиял на литературу, философию, этику, архитектуру, музыку, миниатюру и другие области, сформировал определённый образ жизни».

Мистицизм живет в характере и современных азербайджанцев. И о современных азербайджанцах можно сказать, что они не столько религиозны, сколько, прежде всего, мистичны. Поэтому азербайджанцы предпочитают ходить не в мечеть, а в пир. Религиозность предполагает веру в Бога, соблюдение ритуалов и совершение обрядов. Мистика же исходит из того, что Бог не вне человека, а внутри, Бог не на небесах, а в душе. Это определяет то, что азербайджанцы – это народ с Богом в душе. И, пожалуй, благодаря, прежде всего, своей мистичности, азербайджанцы смогли пережить все многочисленные коллизии своей истории и сохранить свою самобытность.

Мистика пронизывает всю культуру, народную жизнь, речь, внутренний мир и психологию азербайджанцев. Глубоко мистична, в частности, азербайджанская музыка. Она не просто мелодична, а экстатична. Она отражает не просто человеческие переживания, а эмоциональные переживания человеком Бога. Причём музыка не только профессиональная, но и народная. Азербайджанская музыка носит явно медитативный характер и вводит всех вовлекаемых в неё в состояние транса. Песни – словно молитвы или мантры, редко когда обходятся без тонких вибраций, характерных для религиозно-мистической жизни. К слову сказать, среди музыкантов особое место занимают певцы-ашуги, происхождение которых связано также с суфизмом, поскольку слово «ашуг» или «ашыг» означает «влюбленный», а так называли себя именно суфии.

Принято выделять три вида интуиции: мистическую, интеллектуальную и чувственную. И все они характерны для азербайджанцев, хотя на первом месте у них стоит, безусловно, мистическая интуиция. Азербайджанец не доверяет ни своему мышлению, ни своим глазам. Он живёт, прислушиваясь к внутреннему голосу – своей интуиции. Его жизнь словно вросла в интуицию, всё глубже вслушиваясь в неё. За всем у него стоит интуиция. Как бы то ни было, внутренняя жизнь у него перевешивает внешнюю жизнь. Но эта внутренняя жизнь носит не отвлечённый характер, а привязана к земной жизни. Азербайджанец не мог бы сидеть в позе лотоса и медитировать, как индиец. Но он медитирует не меньше индийца. Его медитация связана с реальной жизнью, причем она опускается до уровня быта. Примечательно, что азербайджанцы медитируют в чайной («чайхане»). Не пивная, не закусочная, а именно чайхана притягивает их к себе. Чаепитие в чайхане – это не просто утоление жажды, а это некое подобие японской чайной церемонии, где важно, наряду с поглощением напитка, не только общение, но и созерцание, медитация.

Чуть ли не все вопросы земной жизни трепетно связываются с заботой о душе. Как восклицал Самед Вургун, «Ayrılarmı könül candan?» (Только переводить в данном случае надо не в распространенном варианте: «Можно ль душу из сердца украсть?», а буквально: «Можно ли тело от души отделить?»).

Главное отличие мистицизма и, соответственно, суфизма заключается в том, что Бог рассматривается не вне человека, а внутри него. Человек никогда не сможет постичь Бога, если он будет противопоставлен Богу. Бог внутри человека, и, следовательно, человек и Бог совпадают. Человек и есть Бог, его образ и подобие. Насими пишет открыто:

Я истину познал и понял: «Я есть Бог».
И, в этом убедясь, я не храню молчанья.

А в другом месте:

Я, Насими, соединился с Богом.
И нет скончанья мне, я – сам Аллах!

Для Насими «люди – прекраснее всего, что сотворил Аллах». Соответственно нельзя постигнуть Бога, не поняв себя. Человек сам есть средство постижения Бога:

Тот, кто познал себя, – тот Господа познал.
Познанье Бога – вот на свете путь конечный.

Как и все суфии, Насими воспевает в своих стихах любовь. Но стихи, посвященные любви, в его творчестве – не просто любовная лирика. Любовь у суфиев связана непосредственно с божественным началом. Бог есть любовь, и любовь есть проявление Бога на земле. Любовь божественна. Именно любовь приближает человека к Богу, ибо божественный мир пребывает в любви. Любовь есть не просто переживание, а переживание Бога. Нравственность теряет свой смысл, если она не отрывается от любви. Любовь – это то, что соединяет человеческий мир с божественным:

Кто был влюблен хоть раз, тот видел, как горел
Божественный огонь, как истина сияла.

Однако Насими – относится не только к суфизму, но и является представителем распространенного в конце XIV – начале XV веков в Азербайджане, Анадолу и Западном Иране такого направления в суфизме, как хуруфизм. Это второе обстоятельство, которое ставит Насими на особое место в азербайджанской культуре.

Хуруфизм (от араб. «хуруф» — буквы) – учение о мистическом смысле букв. Хуруфиты объявили 28 букв арабского и 32 буквы персидского алфавита основой всего сущего, видели в этих буквах проявление божественного лика, искали комбинации этих букв даже в чертах человеческого лица. Согласно им, первое проявление Аллаха – это звуки в виде изречений. Вселенная полна звуков, а совершенной формой звуков является слово.

Порядок образования действительности, которая появилась из первичной и вечной субстанции, у хуруфитов предстает в виде следующей системы: Бог – Слово – Вселенная – Человек.

Вообще, по учению хуруфизма, Бог отражает себя в двух формах: 1) в форме буквы, слова, в качестве которой выступает Коран, и 2) в форме человека, созданного Богом по образу и подобию себе. Поэтому хуруфиты называли Коран «китаб аль-самит» («не говорящая книга»), а человека – «китаб аль-натиг» («говорящая книга»).

В кодексе хуруфитов человек не только по своим духовным качествам, величию и могуществу, но и по внешности, красоте считался отражением образа Бога. В красоте имеются черты безупречности лика Всевышнего. Человек – носитель черт, присущих Истине, и они отражены на лице человека. В частности, хуруфиты утверждали, что на лице человека написано слово «Аллах».

Культура – это знаковая система. Первым знаком культуры является письменность, которая может воплощаться в разных видах. Культура – это текст, как утверждают представители герменевтики. И Насими, придавая сакральный смысл письменности, тем самым становится основоположником письменной азербайджанской культуры.

Культура предполагает материальные, предметные формы, без которых не может существовать. И главной такой материальной формой является письменность, которая оформляет и структурирует культуру, соответственно, обеспечивает ей устойчивость в истории.

Значение письменности для культуры трудно переоценить. И именно эту идею фактически утверждал Насими, как представитель хуруфизма.

И, наконец, третье обстоятельство связано с тем, что Насими выступил не только идеологом и теоретиком письменной культуры, но и оказался в числе первых создателей азербайджанской письменной культуры. Насими был первым поэтом в истории азербайджанской литературы, писавшим любовные лирические стихи – газели – на азербайджанском языке. Он справедливо считается первым азербайджанским поэтом. С появлением письменной литературы фактически наступает последний период многовекового процесса формирования азербайджанского этноса, который завершается, в основном, к концу XV века.

Азербайджанская культура к тому моменту имела уже большую историю. Однако письменности еще не было. Соответственно, она не была оформлена и структурирована. Поэтому в исторической науке и общественном сознании утвердилось ложное представление, что тюрки на Кавказе появились лишь после завоевания этого региона турками-сельджуками в XI веке. В частности, в Википедии можно прочитать: «Доминирующей наследственной компонентой этнических азербайджанцев Британника считает тюрок, появившихся в Азербайджане во время завоевания огузами в 11 веке. Согласно Большому энциклопедическому словарю Ларусса, «азербайджанцы являются потомками древнего ираноязычного населения, тюркизированного с XI века» .

Однако, как представляется, предками азербайджанцев были тюркоязычные племена, обитавшие еще в I веке до н.э. во всех государствах, находящихся на территории Кавказа – Манны, Албании, Атропатены, Мидии. На этом, в частности, настаивает Г.А. Гейбуллаев, который отмечает, что «есть все основания предполагать, что на территории Манны, наряду с другими этническими общностями, проживали и алтайские племена».

Таким образом, принадлежность к суфизму, хуруфизму и тюркоязычие обеспечивают особое место Насими в азербайджанской культуры и делают его в ней ключевой фигурой. Его творчество содержит главные идеи азербайджанской культуры, и потому через нее раскрываются ее отличительные особенности.

НАРИМАН АБДУЛРАХМАНЛЫ

Р А С С К А З Ы

Перевод Ниджата МАМЕДОВА

Ветродуй

«…Не пойму, что за тайна – каждую ночь летаю во сне.
Будто ветер, веющий неведомо откуда, несет меня вдаль…»

Признание героя этого рассказа автору

…– Видел?

– Нет, слышал…

…говорят, утром он побывал на телерадио: видимо, точно знал, когда приходит на работу тот человек, к которому он направлялся; зайдя внутрь, он увидел, что его тугоухий Друг с грубыми, неотесанными чертами лица сидит за письменным столом вдвое меньше него самого, и на его лице читается счастье мучающегося запорами бедолаги, которому удалось-таки кое-как облегчиться. Они поздоровались как обычно; переступив порог, он воскликнул «Да-а-а!», а Друг, обученный долгими годами, безошибочно истолковал его клич и в ответ сердечно ответил на приветствие: «Ну да-а-а!»; правда, испытал небольшое затруднение, пытаясь оторвать пятую точку от стула, но не лишил себя удовольствия шлепнуть своей круглой, пухлой пятерней по его ладони, а он, тоже обученный долгими годами, осел на стул, стоящий перед другом, достал из потрепанного целлофанового пакета свое написанное вечером произведение, сказал «Послушай-ка, что я написал» и приготовился зачитать кипу бумаг. Увидев в его руках бумажки, Друг понял его намерение, вытянул в его сторону свое бычье лицо и сказал: «Читай, родной, этот народ и тебя не оценил по достоинству». Эти слова растрогали его, но он понял, что идиллии тут не место, и начал с чувством, толком и расстановкой читать свое произведение; а друг заложил ладони за большие уши, уставился на его губы и при словах «демократия», «свобода», «плюрализм», доносящихся до его тугого слуха, причмокивал языком, качал головой, вздыхал и даже пару раз пытался приподняться со стула, а в конце достал из бокового кармана пиджака, напоминающего палатку для беженцев, большой платок и прижал к глазам: «Да оглохнут те уши, что не слышат правды, срочно печатай, пусть люди узнают истину!». От этого жаркого пожелания он окончательно растрогался, но взял себя в руки и продолжил чтение: еще ближе поднес свой рот к уху Друга, да так, что со стороны могло бы показаться, будто он грызёт это самое ухо. После последнего абзаца вопль Друга вознесся к небесам; со стороны, не видя их лиц и слыша лишь голоса, можно было бы подумать о чем-то совсем неприличном. Они полчаса стонали и вопили таким вот образом, а потом встали и обнялись прямо над письменным столом. Друг прокричал: «Ты соль этой земли, цвет этого народа, дай Бог тебе здоровья! – и

добавил: – Знал бы ты, какое душевное удовольствие я получаю, читая твои произведения! Я тоже приступил к одной вещи, о нашем национальном менталитете...»

Кое-как избавившись от словоохотливого Друга, он выбежал в коридор и отправился в комнату фольклора, которую про себя называл «юртой». Казалось, люди, бывшие в комнате, не спали всю ночь, нетерпеливо ожидая его визита: как только он вошел в комнату, они облепили его со всех сторон и осыпали градом вопросов. Он и не почувствовал подстроенной ловушки: Беззаботный Молодой Человек вовсе не собирался упустить возможность заработать пару-тройку манатов – и после приветствий, шуток да прибауток, он незаметно нажал на кнопку диктофона, а наш наивный и доверчивый герой раскрыл свою сокровищницу слов, рассказал одну гаравэлли[1], пару шебэдэ[2], объяснил, в чем разница между яншагом[3] и ашугом, а свою речь подытожил дуваггапмой[4] какого-то классического ашуга. Беззаботный Молодой Человек к тому времени уже успел услышать от него то, что хотел и потому сказал льстиво: «Дай Бог тебе здоровья и долгих лет, ты настоящий кладезь мудрости». В ту минуту его тронули эти слова, он на миг задумался о своем шатком здоровье и пожилом возрасте, затем взял под мышку свой целлофановый пакет и ушел, не попрощавшись. На обратном пути он заскочил к парочке товарищей, но одного не было в кабинете – он находился на заседании, а другой, спрятав голову под столом, что-то жевал, и наш герой не захотел беспокоить голодного товарища. Выйдя на улицу, герой нашего рассказа столкнулся со Знакомым, чьи плечи украшали погоны, а голову фуражка; чисто выбритое лицо Знакомого сверкало, как яркая лампочка, его выпирающий живот готов был сорвать все пуговицы с кителя. После приветствия и обмена дежурными словами Знакомый стал плаксиво жаловаться на свои боли, пошатнувшееся здоровье, а он тем временем не мог отвести глаз от пупка на его животе, колышущемся как взбитые сливки, и думал: наверное, у этого бедняги что-то неладно с внутренностями, и потому, не отрывая взгляда от пупка, он спросил Знакомого: «У тебя что-то с желудком?». Знакомый положил ладонь на левую сторону груди: «Нет, с желудком-то порядок, а вот сердце слабым оказалось». Ему вдруг показалось чудны́м, что такая огромная туша зависит от крохотного сердечка. Не сумев подобрать нужных слов поддержки, он пошутил: «Деньги свои цени, а здоровье – вещь преходящая». Знакомый, кажется, не понял смысла его слов и попрощался все с той же жалкой улыбкой, а потом пошел по своим делам. Наш герой с такой прытью припустил вниз по улице, будто спешил на какую-то важную встречу.

– Ну, а как тогда, смог поймать?

– Нет, я заприметил его издали, пока я переходил улицу, он промчался, как ветер, я не успел его догнать...

...говорят, по пути он заскочил в Академию, перекинулся парой слов со встречными знакомыми, наконец, добежал до библиотеки, после долгого копания в картотеке заказал пару книг, дожидаясь своего заказа, просмотрел газеты; когда пришел заказ, он долго вертел в руках книги, перелистывая их, пробежал по диагонали страницу-другую; но все его мысли были заняты Молодой Женщиной, сидящей рядом; Женщина, ощутив на себе его взгляд, встала и переменила место; после этого ему совсем расхотелось читать, он вернул книги и отправился к Душевному Другу в инсти-

[1] Анекдот, балагурство.
[2] Издевательство, насмешка.
[3] Говорун, болтун, краснобай, пустомеля.
[4] Стихотворение, которое звучит в финальной сцене встречи разлученных влюбленных в любовных дастанах с оптимистической развязкой. Здесь преобладают элементы восхваления, воспевания.

тут, чтобы кое-кому позвонить. Хищная Дама, сидящая напротив его Друга, как обычно, с его приходом прибегнула к двусмысленностям и колкостям. С каждым словом Хищной Дамы он всё сильнее конфузился, не мог усидеть на месте; Душевный Друг время от времени прерывал свои дела и тоже присоединялся к репликам Хищной Дамы; среди всей этой словесной буффонады он улучил минутку и позвонил Другу Колумнисту и, наслаждаясь его сладким говором, уточнил место и время их встречи. Когда дуэт Душевного Друга и Хищной Дамы достиг самой высокой ноты, ему стало невтерпеж, он встал, впопыхах попрощался и заскочил в институтскую столовую. Торопливо влив в себя тарелку супа, он снова выбежал на улицу. По пути задержался у Знакомого Продавца, поведал немного о родной деревне, немного о делах и сильных мира сего, немного о вопросах религии и науки, с немыслимым мастерством уклонился от завуалированных намеков собеседника по поводу женитьбы, вдруг второпях попрощался и направился прямиком в Союз Писателей. Длинноволосый Поэт сидел в одиночестве в рабочем кабинете и искал хоть кого-то, кому мог бы прочесть написанное вечером стихотворение; Поэт столь истосковался, что завидев нашего героя у порога, обрадовался как ребенок. Такой увесистый и весомый мужчина встал и поздоровался с ним за руку, пригласил сесть, расспросил о житье-бытье. Наш герой довел до сведения собеседника, что жив и здоров, что всё еще пишет, дал небольшую справку о написанном вчера произведении, которое зачитал утром Другу, а затем в свою очередь расспросил Длинноволосого Поэта о его здоровье, житье-бытье, творческих делах и услышал в ответ множество прекрасных и благодушных слов. После такого душевного вступления Длинноволосый Поэт испросил у него дозволения прочитать свое стихотворение и, получив ожидаемый ответ, тут же приступил к чтению. Тембр Длинноволосого Поэта был приятен нашему герою; пока столь увесистый и весомый мужчина дочитывал свое стихотворение из ста строк, наш герой даже чуток вздремнул; а когда настал нужный момент, он высказал немало умных, солидных мыслей о стихах, оригинальных сравнениях, и тем самым окончательно и бесповоротно осчастливил автора. И тут наконец-то пришел человек, которого оба они дожидались – Белолицый Поэт; после поцелуев в обе щеки началась долгая сладкая беседа, которая, как всегда, завершилась националистическими рассуждениями. И при этих словах они с Белолицым Поэтом, как обычно, крепко поспорили, если б не Длинноволосый Поэт, то, возможно, спор перешел бы в стычку; но увесистый и весомый человек вовремя пресек лишние поползновения, по его просьбе Белолицый Поэт начал рассказывать одно из своих сладчайших воспоминаний; наш герой принялся в сотый раз выслушивать уже давно знакомую ностальгирующую шарманку и вдруг вспомнил, что до встречи с Бледнолицым Прозаиком осталось совсем ничего. Он спешно попрощался с поэтом, взял целлофановый пакет под мышку и выскочил в близлежащий парк. Бледнолицый Прозаик как всегда опаздывал; ожидая его, наш герой обошел несколько раз скорым шагом парк, перекинулся парой словечек с несколькими повстречавшимися знакомыми, применил тысячу уловок и трюков с целью сбить со следа приставучих поклонников. Наконец объявился и Бледнолицый Прозаик, после небольшого обмена любезностями они, еле избавившись от преследователей, бросили якорь в одной укромной чайхане.

Усевшись, наш герой сразу вынул из целлофанового пакета свое написанное вечером произведение, которое он зачитал утром Другу и о котором сообщил Длинноволосому Поэту, и без всяких предварительных объяснений начал читать. А Бледнолицый Прозаик именно за этим и пришел; не переставая слушать автора-чтеца, он

время от времени задумчиво щурил глаза, приговаривая «Ага, ага», иногда вставал со стула и снова садился, пододвигал стул всё ближе; наш герой был не в том состоянии, чтобы обращать внимание на настроение Бледнолицего Прозаика, наш герой продолжал читать с чувством, толком и расстановкой, придавая своим словам дополнительную выразительность взмахами руки; после того, как он кончил читать, Бледнолицый Проазик выдержал паузу, собрался с мыслями, попивая чай, и в итоге выдал свое мнение. Поначалу всё шло хорошо, затем беседа потихоньку скатилась в спор, а в конце концов в перепалку, и они чуть ли не вцепились друг в друга. Он заявил Бледнолицему Прозаику: «Тебе далеко до таких вещей, иди пиши свои сказки для малышей! Откуда тебе знать, в чем состоит философский смысл свободы и демократии?». А Бледнолицый Прозаик выдал в ответ: «Вот до чего ты дожил из-за того, что не стал слушать добрых советов: не окончил институт, не стал работать на приличной работе, погнался за абсурдными идеями, а потом сел писать за других научные работы, думал, этим жизнь себе обустроишь; десятки невежд стали кандидатами и докторами наук за счет твоего пера, издали книги, завоевали почет и уважение, заняли высокие посты; а ты, стесняясь и робея, получал от них гроши и пускал на ветер, тратил на дармоедов, которые облепляли тебя в библиотеках и чайханах, словно пчелиный рой; не послушался родителей и не завел семью, да и сам до этого не додумался; повернулся спиной к родным и близким, в родную деревню ни ногой, думал, этим кому-то что-то докажешь; только себе хуже сделал: тебе скоро полтинник стукнет, а у тебя ни кола, ни двора; всё твое имущество – это пять-шесть коробок с книгами да кипа писанины собственного производства, и всё это жалкое добро ты чуть ли не каждую неделю тащишь из одной съемной квартиры в другую, в этом городе нет квартала, где бы ты не снимал жилье; а когда тебе говорят правду в лицо, становишься упертым, в одно ухо влетает, из другого вылетает». При этих словах у Бледнолицего Прозаика лицо побледнело пуще прежнего, дрожали руки, в голосе ощущался скорбный плач, а в глазах стояли слезы; в конце концов Бледнолицый Прозаик махнул рукой: «Эх, да разве станешь ты меня слушаться, раз родных отца и матери не послушался? – Он глубоко вздохнул и добавил: – Да ну тебя, живи как хочешь, жизнь-то твоя, а вот смерть Божья». После этого Бледнолицый Прозаик развернулся и ушел…

– А потом ты смог его найти?

– Нет, не смог…

…но поговаривают, что после ухода Бледнолицего Прозаика он чувствовал себя сквернее некуда: с одной стороны, он сожалел о содеянном, а с другой – слова друга изрядно подпортили ему настроение. Ему захотелось побежать за ним, попытаться уговорить, попросить прощения, объяснить, что он свое уже прожил и больше ничего изменить не в силах, но понял, что всё это абсолютно бесполезно: у него с Бледнолицым Прозаиком частенько случались такие перепалки, он знал, что обида продлится максимум до завтра; либо они где-то столкнутся вечером, либо Бледнолицый Прозаик позвонит, пусть даже в полночь, и они поговорят о литературе так, будто ничего и не было. Они дружили без малого лет тридцать и настолько привыкли друг к другу, что не могли так вот запросто лишить себя общения, в котором нуждались. Прокручивая в голове все эти мысли, он довольно долго простоял на углу улицы; со стороны могло бы показаться, что он кого-то дожидается ради жизненно важного дела, а тот человек не пришел в условленное время, и по этой причине наш герой постепенно теряет терпение. Оказывается, проезжающий по улице со своей свитой

Лидер увидел его, стоящего в растерянности, сквозь затемненное стекло автомобиля, но то ли не успел дать распоряжение притормозить, то ли не счел это подходящим в данный момент; но как только доехал до своего штаба, послал человека за своим старым другом, и вот они провели около часа в кабинете Лидера лицом к лицу и с душами нараспашку. Никто не ведает, о чем они беседовали; но когда наш герой вышел из кабинета Лидера, его лицо светилось счастьем, будто он наконец-то обрел то, по чему тосковал всю свою жизнь. Он довольно долго крутился вокруг здания, где сидел Лидер, словно ему было трудно выйти из круга притяжения человека, с которым он прошагал плечом к плечу тридцать лет и к которому относился неоднозначно. Немного придя в себя, он захотел заскочить в пару мест: он дал текст в одну из газет, а там медлили с публикацией, и это совсем выводило его из терпения: он вдруг решил пойти и выложить этому редактору-недотепе всё накипевшее, сказать примерно следующее: «Откуда тебе знать, что значат исторические корни? Ты только и знаешь, что печатаешь дешевые слухи и сплетни, а на солидарность с нацией тебе начхать»; но потом он передумал, решил заскочить в институт и забрать оставшуюся часть долга у того Кровопийцы, а если не даст, то растолковать, что тому придется защищать свою честь; но вертевшиеся в голове мысли погнали его совсем в другую сторону, он прямиком направился к своему Другу Бизнесмену. Пришел и застал Друга Бизнесмена в тот момент, когда тот произносил величественный тост; Друг, как всегда, затеял скромную пирушку со своим компаньоном; запотевшие бутылки, стоящие впритык на середине стола, так и лезли в глаза; место во главе стола пустовало, так как пирующие всегда были рады видеть нашего героя. Его появление обрадовало Друга Бизнесмена и его компаньона, они с почетом препроводили его на это место и тут же, как уставшие от сделок предприниматели, перешли к «интеллектуальной» беседе; Друг Бизнесмен расспросил его о духовно-политической обстановке в стране, и наш герой после первого стакана изложил свои соображения по данному поводу, а когда намекнул на свою встречу с Лидером и беседу с ним о некоторых вещах, то уловил во взглядах сотрапезников неприкрытый интерес; после второго стакана он завел речь о предстоящих больших делах, а под конец они пришли в такое воодушевление, что подняли очередной стакан за здоровье Лидера. В тот момент в атмосфере маленькой кабинки витало такое единодушие, что он чуть не разрыдался. Но он всё-таки удержался и, чтобы развеять душевную тягость, сказал:«Я сегодня согрешил, огорчил одного друга, потому давайте выпьем за здоровье наших друзей». Затем тосты последовали один за другим нескончаемым потоком, стаканы наполнялись и пустели, под конец они вышли из кабинки отуманенные, словно призрачные тени. Свернув за угол, он вдруг вспомнил, что оставил ключи в кафешке, и помчался обратно. Никто уже не помнит, кому именно вздумалось завершить гулянку чаепитием, но он точно помнил, что круг в чайхане постепенно расширялся, столы ставились к столам, заказывали дополнительные стаканы и чайники; при этом говорили все, но никто никого не слушал и не отвечал. Последней чайхану покинула изначальная троица: Друг Бизнесмен и его компаньон разошлись каждый в свою сторону, а сам он даже не припоминает, как добрался до своего дома…

– Ладно, а как насчет завтра, сможешь его найти?

– Не знаю, ей-богу. Если сам мне не повстречается, то вряд ли.

– Да, дует туда-сюда, как ветер шальной…

– Это еще хорошо сказано, не ветер он, а настоящий Ветродуй.

– Почему Ветродуй?

– Сам себя так прозвал…

…говорит: «Мои душа и тело по ночам вбирают в себя все ветра мира. Встаю утром, и ветер внутри не дает мне спокойно усидеть; кидаюсь туда-сюда, покамест не выпущу этот ветер, пока чуточку не облегчусь». Но когда я услышал прозвище, которым он сам себя наградил, то подумал другое: мне подумалось, что он ветреный, то есть этакое перекати-поле. Я все еще придерживаюсь этого мнения: пятьдесят лет катиться под откос под порывами ветра, но не пытаться свернуть с пути, зная при том, что катишься в никуда… В общем, для этого тоже волю надо иметь…

– Ну да, у каждого своя судьба…

– Что правда, то правда, но в большинстве случаев это говорят утешения ради…

…бывает, порой он расслабляется, становится искренним; в такие моменты от привычно суматошного, суетливого человека не остается и следа, он признаётся, что прожил жизнь неправильно, пустил ее на волю взбалмошного ветра; говорит: «Я думал, что мне всегда будет везти, мое слово будет твердым и перо вечно острым, а потом увидал, что облепившие меня, словно пчелиный рой, стали потихоньку разбредаться, купили квартиры, переженились, стали семьянинами, отцами, заняли высокие посты; мне захотелось пойти по той же тропинке, но не вышло, точнее, я не нашел в себе сил; разменяв третий десяток, я думал, что еще молод, дожив до сорока – что еще не стар, а теперь вот стукнул полтинник, и сейчас предпринимать что-либо всё равно, что махать кулаками после драки». В один из таких расслабленных, искренних моментов он признался, что дико истосковался по женскому дыханию, детской улыбке, но перешагнуть временной промежуток, пропасть возраста очень сложно; не то он с легкостью уговорил бы выйти за него порядочную женщину. И его можно понять. Беда в том, что завтра, когда он останется один-одинешенек, без присмотра, никто ему не поможет; сейчас он еще не стар, сам ходит за покупками, сам стирает и готовит, но в будущем, когда силы иссякнут, ему нужна будет рядом та, что разделила бы с ним и горе и радость, проявила заботу. Когда у сынишки моего был день рождения, я его еле-еле к себе затащил. Семейная атмосфера с ума его свела, я увидел, как он всего за час испытал неимоверные муки, в конце концов мне пришлось разрешить ему уйти. Знал, что он пойдет к себе, окажется снова в своих четырех стенах и начнет себя казнить, но удержать его у меня сил не хватило…

– …

– Вот такие дела… Ну, ты начеку будь, вдруг ветер вытолкнет его тебе навстречу. Если хватит сил, уйми его, скажи, чтоб не поддавался ветродуям и ветрогонам мира сего…

Красивый мужчина

…Вечером, когда смерть приблизилась к ней вплотную, и она, с трудом поднявшись и включив телевизор после долгой утомительной болезни, увидела, как только загорелся экран, портрет того Красивого Мужчины в черной рамке и с черной лентой и услышала бередящие душу завывания кларнета, она поняла, что охватившая ее печаль, возможно, касается ее более, чем других, у нее екнуло сердце, и в ту же секунду она ощутила, как что-то внутри нее рухнуло, и взамен руин воцарилась бесконечная пустота, но ей показалось удивительным, что стенать она не стала, лишь вырвался нежданный стон из глубин той самой пустоты и встал поперек горла, и в

этом стоне прозвучала вся ее невезучая судьба, предначертанная ей еще до рождения, невезение с родителями, мужем, любовью, в нём звучала сладкая тоска по считанным счастливым дням, горечь от безответной любви в зрелые годы, выпавшей ей на долю, словно последняя милость Бога, возможно, этим стоном она выразила всё, что хотела швырнуть в лицо жизни, а потом, словно по какой-то мистической причине, внезапно погас свет, и она, охваченная ознобом, осталась лицом к лицу с пустотой внутри и темнотой снаружи, теперь она даже не помнит, легла ли спать после того, как отключили свет или так и осталась сидеть на месте, во всяком случае, когда за окнами стало светло, она обнаружила себя сидящей на диване. Думать сил не было, потому что в ее памяти всё должно было быть разложенным по полочкам, чтобы суметь подумать, чтобы извлечь оттуда что-нибудь и пройтись вокруг до около, держась, словно за поводок, а в этом состоянии копошиться в памяти всё равно, что носить воду в решете, она прикладывала усилия, но оставалась с пустыми руками, так и осталась сидеть и смотреть в окно, как светает день, она ощутила, как чувство приближающейся смерти, охватившее ее вечером, мало-помалу заполняет пустоту внутри, она ни горевала, ни сожалела, что в пятьдесят четыре года (*во всяком случае, в этом себе можно признаться*) всё, то есть, жизнь, закончилось так легко и просто, точнее, втайне от всех, – кажется, на такие переживания сил у нее больше не осталось, все свои оставшиеся чувства, силы она исчерпала вечерним стоном, продлившемся то ли миг, то ли несколько дольше, взамен осталось пепелище, и кроме нее самой и Бога никто не ведал, что она найдет и извлечет из этого пепелища, вдобавок она знала, что отдалена от очей Всевышнего, нет ее имени в Его скрижалях, в противном случае за эти пятьдесят четыре года она хоть в ком-то нашла бы опору – в отце или матери, в муже или любимом человеке, если же она по этой части знала лишь неудачу, значит, не могла насильно считать себя любимым созданием Бога, это было бы самообманом, а обманывать себя дальше не имело смысла: ровно двадцать пять лет она мечтала о том Красивом Мужчине, она понимала, что обычная официантка может, самое большее, стать мимолетной любовницей такой знаменитости, но тем не менее двадцать пять лет надеялась непонятно на что, будто в один из прекрасных дней этот Красивый Мужчина прискачет верхом не белом коне (*отчего-то она никогда не могла его представить в автомобиле, он всегда грезился ей верхом на коне*) и признается ей в любви, затем посадит верхом и помчится в далекие края, в горной пещере он расстелет на земле свою бурку, и они займутся любовью, от этой любви родится ясный, как месяц, ребенок, затем Красивый Мужчина – он может не бросать свою семью и жениться на ней – станет часто навещать своего сына (*непременно должен родиться мальчик и к тому же походить на отца*), ей и этого довольно, ничего другого от мира и судьбы она не требует, она просит всего лишь крохи удачи, которую другие грабастают пятернями, но она смирилась, ничего, значит, так ей предначертано, а что написано пером – того не вырубишь топором, как бы она ни убивалась – большего не добьется, да получи хоть эту кроху, будет на седьмом небе от счастья, но не вышло, тот Красивый Мужчина не прискакал на белом коне, и не прислал за ней своих подопечных, он ушел с головой в свои серьезные дела, общался с высокопоставленными людьми, часто бывал в зарубежных поездках, поднимался на высокие трибуны, – всё это она видела по телевизору, читала в газетах, слышала от людей, она чувствовала, что постепенно Красивый Мужчина становится всё дальше, недостижимей, чувствовала, что горе, повисшее тяжким камнем на сердце, становится чуть ли не зримой массой, которую можно взять в руки, и еще она не

знала, как дальше жить с таким тяжким горем, но по какой-то таинственной причине с вечера эта тяжесть прошла, по сути, она больше не ощущала физической боли, ее плоть стала легкой и невесомой, как пустота внутри, теперь вот, продолжая сидеть где сидела, она хотела кое-что вспомнить: она пыталась вызвать перед глазами смерть матери, лица которой толком и не помнила, пыталась разобраться, что в такую минуту могло пронестись сквозь сознание трехлетнего ребенка, потом она предприняла попытку разобраться, почему однажды в их доме появилась чужая женщина, почему эта чужая женщина каждый Божий день ругала и била ее, и, будто этого мало, почему кричал отец, когда она плакала, и по какой причине спустя некоторое время они стали нянчить и миловать новорожденного мальчика, вслед за всем этим она открыла глаза и обнаружила себя в другом доме, среди толпы детей, с тех пор ни отца, ни эту чужую женщину она не видела, взамен ее ругала и била другая чужая женщина, к месту и не к месту наказывала и ставила в угол, потом ей встретился человек, которого она звала мужем и с которым прожила вместе всего три месяца, точнее, не встретился, он работал шофером в том месте, где она жила и училась, каждый раз при встрече с ней этот человек, который чуть ли не в отцы ей годился, смотрел с видом знатока на ее тело, грудь, в глаза, довольно улыбался, и от этих взглядов ее созревшую плоть охватывал жар, а в душе поднимались непонятные чувства, которые она была не в силах укротить, жертвой этих чувств она и пала, то есть однажды обнаружила себя в машине того человека, не зная, куда едет, не понимая, что ожидает ее в конце этой поездки, а когда узнала – было уже поздно, вот с тех пор она и жила в двухкомнатной квартире этого человека, она испытывала к нему смутные чувства, но он, надо быть правдивой, клялся ей в любви, говорил, что поженятся по всем правилам, как только ей исполнится восемнадцать, но она не обращала на это особого внимания, ведь отец-то родной предпочел ей чужую женщину, а от другой женщины, в том месте, где она никак не могла прижиться, она натерпелась чудовищных мук, так что она была согласна и с текущим положением дел, ей не было предначертано достигнуть большего – да, в ту пору она думала именно так, но, оказывается, и этого ей было много, ибо ровно через три месяца умер в страшной аварии тот человек, которого она звала мужем, не успела она прийти в себя от всего этого, как родственники покойного стали выживать ее из квартиры, но во время этих склок ей раз в жизни повезло, среди орущих и размахивающих кулаками нашелся-таки один порядочный человек, сказал, что невестка уже ждет ребенка, и поставил всех на место, а она стала благодарить Бога, надеясь, что у нее в жизни появится хоть ребенок, но судьбе было угодно иначе, ребенок оказался мертворожденным, оборвалась еще одна ниточка надежды, но, появись отец в эту сложную минуту и выполни свой отцовский долг, она бы всё простила, думая, что и у нее есть защита и оборона, но отец не пришел и даже не дал о себе знать, видимо, не было у него времени задуматься о совести и тому подобных вещах, быть может, он даже вспоминать не хотел о существовании дочери, она прождала месяц, желая в этом удостовериться, потом еще один, в начале третьего она пошла искать работу, куда бы она ни шла, на ее тело и лицо смотрели оценивающим взглядом, бросали двусмысленные реплики, делали завуалированные предложения, загоняли в угол, узнав, что живет одна, хотели захаживать к ней домой, она терпела, а когда стало невмоготу – постучалась в другую дверь, надеялась встретить человека совестливого, который будет смотреть на нее не как на любовницу, а как на свою женщину, но не вышло, точнее, ей самой не понравились те, кто так думал, один не понравился из-за характера, другой из-за

того, что хотел прибрать к рукам ее квартиру, а третий оказался подлецом, он пропал с концами, когда отношения между ними стали принимать серьезный оборот, ровно через шесть месяцев она узнала, что у этого беглеца жена и целая орава детишек в районе, а потом она встретила завмага, точнее, один ее знакомый приходился знакомым завмагу, а директор гостиничного ресторана был другом завмага, именно знакомый слышал от директора, что тот ищет молодую женщину для работы в баре, вот он и повел ее чуть ли не силой к завмагу, а тот к директору, и вот с тех пор она свыклась с атмосферой бара, обжилась там, зарабатывала хорошо, потому и не искала другого места, с тех же пор потихоньку-полегоньку, даже сама этого не заметив, она стала любовницей завмага, но принуждения в этом деле не было, наверно, смирилась с судьбой, или в обмен на великодушие завмага она осуществила его пожелание, и в то же время захотела хоть какого-то мужчину рядом, таким вот образом они три или четыре года состояли в близких отношениях, то есть завмаг пару раз в месяц захаживал к ней или отвозил на своей машине в укромные местечки, иногда покупал хорошие подарки, но вместе с тем никогда не отдалялся от своей семьи, видать, умным был человеком, точно знал приходы и расходы, он не давал ей повода почувствовать себя кем-то, больше любовницы, и она место свое знала, не просила ни у Бога, ни у завмага того, что ей не предназначено и не предначертано, так и жила сегодняшним днем, плыла по течению, днем была занята на работе, ближе к полуночи стряхивала с себя алчные взгляды, двусмысленные реплики, прикрытые и неприкрытые предложения клиентов, которым прислуживала, и отправлялась домой, оставалась наедине с собой в четырех стенах, а по утрам снова шла на работу, заранее предвидя все эти взгляды, реплики и предложения, но ни директору, ни завмагу ничего об этом не говорила, знала, что там, где она работает, иначе не бывает, клиенты приходят сюда сбросить груз забот и проблем, с жаждой побывать в чуть другой атмосфере, и то, что они делают – неписаные законы данной среды, ведь они прекрасно понимают, что вероятность работы семейной, домашней женщины в баре исключена, и если она здесь работает, значит, каждому, кто сюда приходит, должна достаться хотя бы кроха ее независимости и свободы, но тот Красивый Мужчина, который часто захаживал в компании с двумя-тремя приятелями, ничего от нее не требовал и не ждал, наоборот, женщина сама с безграничной щедростью уделяла ему внимание, с первого же дня этот высокий, стройный, со вкусом одетый Красивый Мужчина с чуть поседевшими висками, чьи умные глаза за толстыми стеклами очков будоражили её душу, заглянул с милосердием ей в лицо и этим взглядом низвергнул ее в бездонную пропасть, отнял всю волю, превратил в добровольную рабу, в то же мгновение она поняла, что это – конец, дальше уже некуда, когда Красивый Мужчина, чуть заикаясь, заказал дорогого коньяку и закуски, озвучил заказ с изысканным аристократизмом, который так шел ему, у нее в голове стоял шум, а внутри бушевал ураган, сердце готово было выскочить из груди, даже глаза застлало пеленой, она изо всех сил старалась разложить заказ на подносе аккуратно, но не слушались руки, это ее состояние уловили и спутники Красивого Мужчины, когда она расставляла коньяк и закуску на столе, тот, что был маленького роста, с всклокоченными волосами и чертенятами в глазах, посмотрел на нее плотоядно, другой – среднего роста, лысый и попыхивающий сигаретой – с долей вежливости выразил свою благодарность, сказал, что вкушать еду, поданную прекрасной женщиной, доставляет двойное наслаждение, а Красивый Мужчина только улыбнулся, взглянул с прежним состраданием на ее покрасневшее от смущения лицо с выступившими каплями пота и легонько кивнул го-

ловой, и этот взгляд пробрал ее до самых душевных глубин, так что она вконец растерялась – не понимая толком, кому и как прислуживает, всё поглядывала одним глазком на столик Красивого Мужчины – может, что-нибудь еще понадобится, но Красивый Мужчина подозвал ее еще раз только когда захотел расплатиться, и она впервые не задумалась о дополнительных чаевых, а Красивый Мужчина расплатился так щедро и аристократично, что она не нашлась, как вернуть сдачу, схватил за руку низкорослого спутника с всклокоченными волосами и чертенятами в глазах, который от коньяка стал раскованным и попытался полезть к ней, дал знак другому лысому спутнику среднего роста с дымящейся сигаретой в зубах, который пытался что-то сказать, затем томно улыбнулся и, растягивая слоги, сказал «спасибо», вот так они и ушли, а она осталась совсем одна в шумном и прокуренном баре, и в ту же ночь впервые дала от ворот поворот завмагу, заявившемуся с целым ворохом подарков, до самой глубокой ночи она пыталась вспомнить, где же видела того Красивого Мужчину, наконец вспомнила, что видела по телевизору, даже имя его вспомнила, но обрадоваться не смогла, наоборот, на сердце повис тяжкий камень, недосягаемость такого знаменитого, уважаемого, прославленного человека заполнила мраком ее душу, вместе с тем и в последующие дни она с утра до ночи не отводила глаз от дверей в ожидании Красивого Мужчины, а тот заходил пару-тройку раз в неделю, иногда в окружении тех же двоих, а порой с другими, и каждый раз заказывал и рассчитывался именно он, его спутники заглядывали ей в лицо, не подавали виду, но еле-еле удерживались от реплик, будто согласились меж собой, что эта молодая женщина принадлежит лишь Красивому Мужчине, ибо когда в третий свой визит Красивый Мужчина, делая заказ, взял ее за руку (*в этот момент ее пробила дрожь и чуть не подогнулись колени*), и уходя обнял за шею, в следующий раз провел ладонью по щеке, а однажды с ощущением полного на то права обнял за талию и прижал к себе – всё это было столь естественно, что ни спутники Красивого Мужчины, ни клиенты в баре (*его знали почти все, они оборачивались в его сторону и кивали в знак приветствия*) не видели тут ничего необычного, по ночам в одиночестве, очистив память от всех посторонних, она сохраняла в ней его одного, приводила в свою двухкомнатную квартирку, целовала и ласкала, занималась с ним любовью, миллиметр за миллиметром изучала его тело, которого до сих пор не видела, а когда они встречались с ним лицом к лицу, одного прикосновения Красивого Мужчины хватало, чтобы воскресить в ней то, что она испытывала с ним по ночам, ибо за эти несколько лет человек, который находился столь близко, которому она столь легко себя подчинила, одного слова которого было бы достаточно, чтоб она последовала за ним, ни разу не произнес двусмысленного слова, не предложил интима, видимо, либо оставался верен своей семье, либо слишком устал от женщин, как бы там ни было, в его прикосновениях отсутствовала грубая мужская похоть, но целиком присутствовала ошеломительная любовь к женщине, она ощущала эту любовь даже когда Красивый Мужчина не заходил неделями, совершал дальние поездки или отдыхал летом у себя на даче (*она догадывалась об этом по его загоревшему лицу, исходящему от него запаху моря, когда он появился в один из осенних дней*), чтобы не видеть голое тело завмага, которого она порой к себе подпускала за его прежнюю доброту, она всегда от начала и до конца крепко-накрепко зажмуривалась, а после того, как дело было сделано, на протяжении нескольких дней брезговала собой, она стеснялась себя за то, что изменяет Красивому Мужчине, ей казалось, что и он всё это понимает, и при встрече не могла взглянуть ему в лицо, вдобавок она не допускала мысли, что ее от-

ношения с завмагом не касаются Красивого Мужчины, то есть невозможно, что человек, столь трепетно любящий женщину, не мог предположить вероятности ее столкновения с грубой похотью, но проходили месяцы, за ними годы, круг Красивого Мужчины то расширялся, то сужался, порой совсем сменялся, но его отношение к ней оставалось неизменным, будто он принял без всяких задних мыслей, что о его восторженных взглядах и предназначенной лишь ей улыбке, божественной любви между ними знают все и не надо тут выискивать чего-то другого, будто он вовсе не знал, как печалят женщину его стремительно седеющие виски, седеющие усы и зачесанные назад волосы, появление морщин на лице, появившаяся в движениях тяжесть, но Красивый Мужчина и вправду не знал, что женщина скопила чаевые, которые он каждый раз ей давал, и на эти деньги купила где-то его портрет и увеличила, повесила тот портрет на стену и затянула бархатной занавеской, по ночам отодвигала занавеску и вволю смотрела на любимого мужчину, плакала от охватывавших ее смутных чувств, он обо всём этом не знал и никогда не узнает, но по мере того, как проходили годы, она мечтала запричитать во время похорон Красивого Мужчины, обвязать его портрет черной лентой и проводить его в последний путь, ступая впереди гроба, надеть черное платье и стоять со скорбным видом у могилы, но она не могла бы исполнить все эти желания, кроме последнего, ведь если даже она считала себя вправе, то Красивый Мужчина такого права ей не давал, точнее, всем заправляла судьба, и она даровала Красивому Мужчине другую женщину, а ее судьба обделила, к тому же судьба свела их в такое время, когда надеяться на что-то большее было невозможно, вернее, захоти того Красивый Мужчина, всё было бы так, как он скажет, но раз он того не хотел, значит, имел на то основание, значит, так нужно и суждено, то есть и он прекрасно понимал – невозможно стереть то, что предписала судьба, именно поэтому вплоть до самого конца, когда он перестал приходить в бар, он сохранял ту невидимую дистанцию между ними, а за последние четыре года он вообще ни ногой сюда не ступил, вспоминал ли он ее в эти последние четыре года, а если да, то чувствовал ли он теплоту внутри, хотел ли он наведаться в это местечко, куда приходил на протяжении двадцати пяти лет, отойдя на время от своих больших дел, личных забот и дальних поездок? – это знали лишь Бог и он сам, но за эти четыре года не было и дня, чтобы женщина не ждала его прихода, она чувствовала, что стремительно постарела, ожидая его, что у нее больше не осталось сил жить прежними чувствами, и когда в середине первого года отсутствия Красивого Мужчины страдающий от диабета завмаг отдал Богу душу, она даже не подумала горевать, наверно, потому, что потеря души тяжелее потери тела, нестерпимей, плюс ко всему последние три месяца четвертого года его отсутствия она провела в постели, один месяц из трех – в больнице, остальные два – лежа дома, врачи не могли поставить толком диагноза, ее никто, кроме пары знакомых и соседок, не проведывал, и тогда, совсем растрогавшись, она сказала самой близкой из них, что отложила деньги на свои поминки, естественно, она не стала говорить, что собрала те деньги за счет чаевых, которые на протяжении долгих лет давал ей Красивый Мужчина, по сути, даже одежду себе она покупала на те деньги, убедила саму себя, что Красивый Мужчина дает чаевые именно для этого, значит, так правильно, так надо, если придет с подарком, могут неправильно понять, да и она станет надеяться на что-то большее, а расплата деньгами за ее прислуживание, за чарующую улыбку, теплое прикосновение ни в ком лишних мыслей не вызовет, вдобавок, было бы настоящим чудом, если б Красивый Мужчина проведал ее во время болезни с букетом цветов в руках, но она

дала соседке денег из тех чаевых, которыми он ее одарял, попросила купить цветы и поставила рядом с постелью, только вечером, включая телевизор, она заметила, что цветы пожелтели и засохли, она подумала, что так и сохранит букет до конца своей жизни, затем увидела портрет Красивого Мужчины в черной рамке и с черной лентой, услышала бередящие душу завывания кларнета, ее охватила печаль, но плакать она не стала, почувствовала приближение смерти, лишь раз простонала, ощущая, что внутри всё начинает рушиться, затем так и осталась неподвижно сидеть, где сидела, сожалея лишь о том, что Бог не дал исполниться даже последнему ее желанию, что она не смогла ни запричитать на похоронах Красивого Мужчины, ни взять в руки его портрет в черной рамке с черной лентой и идти впереди похоронной процессии, и, кажется, ей не суждено даже надеть черное платье и стоять со скорбным видом у его могилы, ибо смерть уже близка, совсем близка…

Падший голос

Дребезжанье телефона вообще, а с появлением мобильных звонки с неизвестных номеров вызывают во мне беспокойство и даже некоторую тревогу: мне чудится, что я услышу нежданное известие, которое оставит глубокий след в моей жизни и даже послужит причиной немыслимых перемен, изменится выглядящий внешне спокойным, размеренным ход моей жизни, и больше ничего не будет по-прежнему; вдобавок, это ошеломительное чувство, длящееся не более мгновения, настолько сильное, что я вполне отчетливо ощущаю, как пересыхает в горле, сбивается дыхание, слезятся глаза – то ли от волнения, то ли от того чувства, выступает пот на корнях волос; я решительно не в силах описать промежуток времени между треньканьем телефона и первыми фразами, по которым становится ясна цель звонящего, скажу лишь, что порой тот промежуток длится чуть ли не в целую жизнь, а я в тот миг без всяких преувеличений умираю и вновь оживаю, чувствую, как каплю за каплей теряю силы, до тех пор, пока все не прояснится.

Однажды я описал другу-психологу как мог точнее это свое непонятное состояние, а тот, уже будучи знаком с моим характером, помотал головой, сжал губы и с полузагадочной-полуироничной улыбкой выдал: «Ей-богу, что сказать, твое психологическое состояние столь же непросто, как и ты сам, не могу ничего разобрать, оно совершенно не соответствует всему тому, что мне довелось прочесть и повидать». Но сам я нашел странное название для того короткого и ошеломительного мгновения, я назвал его звучным и в то же время запутанным, как и мое состояние, словосочетанием «Синдром внезапности», обозначающим состояние человека, боящегося неожиданных событий, внутренне не готового к подобным событиям и вечно живущего в страхе перед ними.

Конечно, эта моя находка никакой лепты в науку психологию не вносила, максимум, она была выдумкой, призванной обмануть, успокоить и оградить меня и, естественно, даже мне особой пользы не приносила…

И на сей раз, увидев на экране телефона незнакомый номер, я стал переживать «синдром внезапности», нажал зеленую кнопку и с бьющимся сердцем вымолвил несколько раз «алло», в промежуток времени между моей и ответной репликой всё мое тело от макушки до пят пронзило непонятное ощущение, и уже по обыкновению я почувствовал, как выступил пот на голове и шее, как заслезились глаза.

Как-никак себя-то я знаю, знаю, что если уж пробило потом, то это признак надвигающейся слабости, упадка сил, от этого всё мое тело обмякает, притупляется восприятие, я превращаюсь в мешок с костями, а потом приходится тратить огромные силы, чтобы прийти в себя, для этого состояния я тоже подобрал название – «мгновение отключки», мне всегда кажется, что я распрощаюсь с этим миром в одно из таких мгновений.

Однако голос, который я услышал на сей раз, оказался очень знакомым, вдобавок, никакой угрозы не ощущалось, потому я немного успокоился, взял себя в руки, постарался собрать всё свое внимание, чтобы вникнуть в смысл доносящихся до ушей слов; вот уже долгое время у нас не было никакого контакта, звонящий говорил примерно следующее: «Ладно, допустим, я поступил неправильно, а сам-то ты почему ни разу обо мне не вспомнил, не задался вопросом, жив ли мой брат или нет, что с ним стряслось, может помощь какая нужна? Это я так, к слову… Слава Богу, всё в порядке, я жив-здоров, ни в чем особо не нуждаюсь; я звоню тебе спустя без малого десять лет не с просьбой о помощи, просто мне вспомнились те прекрасные дни, которые мы проводили вместе, наши бескорыстные взаимоотношения, и мне подумалось, что будет хорошо, если мы вновь найдемся». Я невнятно бурчал время от времени «да, да» и пытался понять, в чем состоит цель звонка: прошли годы, мы с ним с юного возраста были не разлей вода, но потом он внезапно исчез и также внезапно объявился, и теперь я пытался разгадать, что за тайна тут кроется; конечно, он мог немного впасть в ностальгию, вспомнить прежние деньки и даже чуть растрогаться, в этом я нисколько не сомневался, с возрастом у человека хрупкими становятся не только кости, но и чувства; но непонятное, смутное, и даже отчасти провоцирующее беспокойство во мне вызвал его голос…

Этот голос был не тем, прежним голосом…

Тот прежний голос я мог распознать чуть ли не по колебаниям воздуха; в том голосе были прозрачность, неподдельность, вера в добро, он тогда еще не испачкался, не приобрел дополнительных оттенков, не поблёк; когда во время очередной беседы с другом-психологом я завел речь о цветовой окраске голосов, у бедняги от изумления глаза на лоб полезли, он оторопело уставился на меня и сказал: «Какие мысли приходят тебе в голову! Честно говоря, я никогда не задумывался об окраске голоса»; «Ну, в таком случае позволь тебе объяснить: у меня был друг, с которым мы дружили чуть ли не с пеленок, мне всегда казалось, что его голос зеленый-презеленый, стоило мне услышать его голос, как тут же мою душу, мои чувства окутывала зелень полей, долин, гор и лесов; голос синеглазой девушки, в которую я влюбился в студенческие годы, вызывал во мне ощущение безграничной сини, мне казалось, что с ней можно прожить жизнь лишь под синью небес, на лоне синих гор, на берегу синего моря, а после того, как она выбрала другого и вышла за него замуж, ее голос посерел, стал похож на серый город, серые улицы, серые дома; у хозяина кафе, куда я частенько захаживаю, красная рубашка, красное лицо, и он ради красного словца не пожалеет родного отца – эти примеры я могу множить и множить»; «Нет-нет, достаточно, – промолвил мой друг-психолог с лицом, с которого еще не сошли следы крайнего изумления, – тебе бы с таким умом взять и защитить диссертацию, теперь на толковую работу бы ходил, жил бы в достатке, трудясь литератором, далеко-то не уйдешь»; конечно, в ту минуту я не отреагировал на его полусерьезную-полушутливую реплику, но был уверен, что вызвал в его душе недоумение по поводу цветовой окраски голосов, и что мысли об этом на некоторое время займут его сознание.

И вот теперь, не почувствовав зеленого цвета в голосе позвонившего мне человека, я опешил, и мне предстояло мучиться до тех пор, пока я не определю, какой окрас вытеснил прежний, привычный для меня, цвет...

В этом голосе я видел уже пресыщенного, прошедшего через справедливые и несправедливые испытания жизни, волей-неволей запачканного пылью и грязью на спусках и подъемах жизненного пути, и вдобавок уже обвыкшегося с этим человека; честно говоря, после того, как наши пути разошлись – он остался в нашем родном провинциальном городке, а я обосновался в столице, – я предпринял несколько попыток, чтобы не разорвать нити, связывающие меня с тем зеленым голосом: один раз трубку снял незнакомый человек и сказал, что сообщит другу о моем звонке, а я, не переставая надеяться, ждал, но не смог услышать тот голос зеленого цвета; при второй попытке мы еле успели обменяться парой фраз, как связь оборвалась, и я больше не смог услышать тот голос; при третьей же попытке я услышал на линии совершенно другой голос: «... абонент недоступен...»; а потом прошли годы, от него никаких вестей не доносилось, а я проживал день за днем, ощущая боль при каждом воспоминании о том, что тот зеленый голос в моей памяти с каждым разом тускнеет; и вот теперь он внезапно объявился с изменившимся голосом, а я слушая его слова, всё пытался разобрать, какого же цвета голос, и, по-моему, мне это удалось безошибочно: конечно, раздающийся в трубке голос был темно-серого цвета; быть может, на этот мой вывод повлияла сегодняшняя пасмурная погода, повлияло настроение, вызванное «синдромом внезапности», но я был уверен, что не смогу изменить это впечатление, даже если нам придется увидеться; в данном вопросе хозяином был не я, а мое шестое чувство, волей-неволей мне придется попасть под его влияние... Нет, этот голос не тот прежний голос... В том голосе присутствовал необъяснимый и неописуемый свет, идя за тем светом, мы проходили через прямые, без рытвин, дороги-пути нашего детства, юности и молодости; в том голосе жили родные нам степи, горы, долины, запах головчатки, борщевика, щавеля, вкус малины, боярышника, мушмулы, гомон диредёйме, чилингагача[1], чехарды, сладкие муки первой любви, которые теперь и нам самим казались смехотворными, немыслимые планы по поводу нашего будущего; в том голосе жили довольство малым, желание поделиться последней крохой, разделить горе друга, отчаянность и беззаветность; однажды, когда он угодил в яму и подвернул лодыжку, у меня при виде того, как он страдает, ком встал в горле, и я готов был разрыдаться, но, взвалив его на спину, дотащил до самого их дома; а в другой раз – в студенческие годы – из какой-то пустой заносчивости мы подрались двое против двух со своими сверстниками, я боковым зрением уловил, как он быстро расправился со своим противником и приложил всё рвение, чтобы прийти мне на подмогу, зная, что в драке я не особо силен; не могу выразить словами, каким счастливым он выглядел в тот момент, когда добился своей цели и выручил меня: казалось, сияло не только его лицо и большие глаза, но и фингал под правым глазом; впоследствии я не раз задумывался о том, что за чувство побудило нас тогда крепко обняться и даже немного растрогаться, но ничего дельного в голову не приходило, моя память всё еще хранит и свет, и цвет, и даже запах (*вот и нашелся у меня повод завести речь о запахе голоса и повергнуть своего друга-психолога в еще большее смущение*) его голоса, когда он сказал: «Я так испугался за тебя» – я долгие годы носил в себе этот голос как свет, озаряющий мой жизненный путь, как подмогу душе...

[1] Древние игры, широко распространенные в Азербайджане среди детей и юношества.

Цвет и оттенки этого голоса, по сути, стали меняться, когда в прошлом году я случайно узнал о том, что он приехал по каким-то своим делам и остался в городе на несколько дней; конечно, мы не столкнулись случайно и не повстречались нарочно, я просто, узнав о его визите, начал явно чувствовать то, как его голос, хранившийся в моей памяти, изменился, стал чужим. Я считал, что даже если он приезжал лишь на день, то, по меньшей мере, должен был бы позвонить, расспросить о житье-бытье, да и сам поведать, каково ему живется, должен был разузнать обо мне; ведь именно так и относились мы друг к другу лет десять-двенадцать назад: возвращаясь в родной городок, я не сообщал заранее о своем приезде, чтобы он зря не беспокоился, но, тем не менее, прежде, чем постучать в двери нашего дома, стучался в его дверь, как минимум, переступив порог отцовского очага, считал своим долгом тут же навестить его и его семью; а он в большинстве случаев заранее сообщал о своем приезде, чтобы я мог уладить свои дела и уделить ему время; мы не искали во всем этом какой-то особый смысл – всё происходило так естественно, без каких-либо одолжений, что не припомню, задумывался я об этом хоть раз или нет; а потом несколько раз он приезжал и уезжал, не ставя меня в известность, однажды даже мы чуть ненароком не столкнулись, если точнее, его заприметил я: в один из жарких летних дней я зашел в кафе на открытом воздухе, чтобы выпить пару кружек холодного пива, уселся в дальнем, неприметном уголке в прохладной тени раскидистых крон, и вот тут-то до моего отдохнувшего от городской шумихи слуха донесся его знакомый голос, сначала я подумал было, что одурел от жары, но я прислушался к голосу, доносящемуся из-за вечнозеленых кустов позади меня, и тут все мои сомнения развеялись – этот голос принадлежал точно ему, и тогда я ощутил, как что-то отделилось от моего тела, души и памяти, отделилось нечто невесомое, растворилось в летнем мареве и исчезло бесследно.

В тот момент я не понял, что за чувство помешало мне встретиться с ним и перекинуться парой слов; тот родной голос влился в нестройное созвучие, образованное одним знакомым (*за столом сидел еще и наш общий знакомый*) и другим, незнакомым, голосом, я не разобрал полностью, о чем они беседуют, но явственно ощутил, как в эту летнюю жару родной мне голос постепенно холодеет, меняет цвет и свет, становится чуть ли не чужим, и в ту же секунду мое нутро пронзила такая жгучая боль, что, опрокинув залпом кружку пива, принесенную стройным официантом, и даже не прикоснувшись к отварному гороху, я бросил на стол деньги и, не дожидаясь сдачи, поспешил покинуть кафе. Уже выходя, я увидел поверх кустов его профиль, наш общий знакомый сидел спиной ко мне, потому мне удалось пройти незамеченным; но мои ноги стали будто ватными, внутри поселилась немыслимая пустота; в конце концов, миновав удушливый подземный переход и рухнув без сил на одну из скамеек парка напротив, я погрузился в довольно долгие раздумья по поводу того, от чего и почему убежал, но так и не додумался до чего-то вразумительного, я испытывал лишь непонятное чувство, похожее на тупую боль и отчасти напоминающее ощущение потери.

Немало времени спустя я позвонил ему, сказал, что просто хотелось услышаться, давно ведь не видались, узнать, как поживает, всё ли в порядке, но, получив спокойные, уверенные ответы, я порядком опешил: оказывается, дела идут по-прежнему, слава Всевышнему, всё в порядке, домочадцы тоже живы-здоровы, он встретится со мной, когда пожалует в наши края; я искренне удивился тому, что в тот момент у него не дрогнул голос, не стал заплетаться язык: видимо, опыт прожитых

лет не пропал впустую; но вместе с тем ему не удалось скрыть, что голос его изменился, конечно, это уловил один только я, ощущение потери стало нарастать и сгущаться и сделалось невыносимым. А теперь вот позвонил он сам, расспрашивал меня о житье-бытье, о работе-делах еще более сдержанным, степенным, отутюженным голосом, абсолютно не обращая внимания на мое растерянное, бессмысленное, невнятное бурчание, он поведал о своей жизни, своих делах: слава Аллаху, всё в порядке, он был занят и потому не мог со мной связаться, а еще пришлось съездить заграницу, отдохнуть, вот почему в отношениях возникла такая затяжная пауза.

Я слышал его слова и все пытался вызвать перед глазами облик друга юности, говорящего на том конце провода: если ему вздумалось отыскать меня спустя без малого десять лет, значит, на то есть серьезная причина, потому как по его голосу не скажешь, что он впал в ностальгию, растрогался, вознамерился вернуть утраченное; в этом голосе нет никаких материальных ожиданий, просьбы дать денег в долг, он знает, что я зарабатываю на хлеб своим пером и никаких сбережений не имею; скорее всего, он и сам догадывается о той холодности, которая пролегла между нами по его же собственной вине; если, принимая всё это во внимание, он всё-таки взял и позвонил, значит, есть серьезная причина, побудившая его предпринять этот шаг, и эта причина (*может, он хочет, чтобы я замолвил за него словечко*) мне не вполне понятна…

Между этим и тем голосом пролегала глубокая пропасть…

Я всегда летел окрыленный на дуновение того голоса, между нами не было ни гор, ни пропастей, всё было ясным и светлым, в пасмурные, дождливые, ненастные дни я ощущал свет и всей своей душой тянулся к тому свету. Однажды, дожидаясь его, я попал под ливень и подхватил воспаление легких, пролежал в постели ровно две недели; но даже в тот момент и мысли не допустил о виновнике своей болезни, воспринял случившееся естественно, не пытался придать этому какого-то героического тона, а когда он принялся ужасаться, я осек его со словами: «Хватит нести глупости, ты ни в чем не виноват, я мог попасть под ливень и по дороге на базар»; в другой раз, провожая его в молодости в дальний путь на поезде, я заметил, как он поеживается от холода, и тут же снял с себя новый шерстяной свитер и чуть ли не силой заставил его надеть, но и тогда даже не подумал придать этому особого смысла, мне хватило света в его глазах, тепла в его голосе, чистоты и невинности во всём облике. Ну а потом тот свет, то тепло, то выражение ушли куда-то вдаль, да там и пропали…

В этом голосе я чуял запах пепла угасающего костра; наверно, мне следовало разворошить костер, достать угли из-под пепла и раздуть пламя; но в моей душе пустил корни холод минувших лет, я не верил, что тот жар сможет меня согреть. Казалось, этот голос, теряя постепенно свой свет, цвет и запах, дошел до своих мрачных, темных и непроглядных глубин, а человек, которому принадлежал этот голос, сбился с пути и скатился в бездонную пропасть. В том голосе, который я слышал сейчас, я ощущал мрак, иссиня-черный цвет, резкий запах, и от всего этого мутилось мое сознание, притупляя способность мыслить правильно и вынести верное решение…

И вот в эту-то секунду голос пропал, в трубке послышался гул вперемешку со скрипом…

Вдобавок ко всему я тоже растерялся и нажал на красную кнопку, и так и простоял некоторое время в растерянности, слушая отрывистые гудки, доносящиеся до моего слуха…

Полдня

…Всё завершилось намного лучше, чем ты предполагал…

Спустя всего два часа ты избавился от семейных забот, трудовых будней, от столпотворения города и без всяких проволочек добрался до санатория в пригородном поселке; глядя в ищущие глаза регистраторши и «оценив» ее столь же заискивающую улыбку, ты заполучил одноместную комнату, еще не разложив вещи по полочкам, ты положил на стол желтоватую, мягкую кипу бумаг и ручку, а теперь смотришь сквозь окно с наполовину отдернутой занавеской. Правда, моря не видать, но, несмотря на зиму, перед твоим взором простираются приносящие умиротворение ряды вечнозеленых деревьев. Немного ветрено, когда ты утром садился в автобус, шел мелкий дождь, который уже перешел в мокрый снег, косо падающие с неба снежинки, дойдя до каменных плит вокруг здания, тут же тают. Конечно, с таким темпом вряд ли чего наберется. Выходит, и в этот год не видать тебе снега.

В дверь стучатся, и ты отворяешь: это горничная, она принесла простыни, полотенце для рук и банное полотенце. Кажется, у нее тоже болят суставы, тебе кажется странным, что она страдает от этой болезни, работая в санатории. Женщина приближается вразвалку, медленной походкой, меняет простыни, наволочки, кладет полотенца в изголовье кровати, желает приятного отдыха и, не отрывая взгляда от пола, добавляет, чтоб ты сообщил ей, если возникнет в чем-то необходимость. Ты знаешь правило, в эту секунду твое левое плечо приподнимается, правая рука ныряет в карман, ты достаешь мелкую купюру и оцениваешь старания женщины. После того, как женщина благодарит тебя и уходит, ты оборачиваешься и смотришь на ручку с бумагой, лежащие на столе. В мозгу мелькает мысль: да, ты пришел сюда, но твои болячки – дело пустое, твои мучения не излечить всякими там процедурами; сегодня воскресенье, рано утром ты будешь на приеме у врача, он тебя обследует, станет что-то там выписывать, определит процедуры, даст советы, а ты, как скаковой конь, займешь свое место в общем ряду, примешься бегать за медсестрами, ждать в очереди, стараясь найти общий язык с каждым встречным, примешься выслушивать в процедурных кабинах сальные реплики пожилых мужчин, большинство которых составляют приезжие из районов, мужчин, до безумия истосковавшихся по теплу других женщин, примешься выслушивать шуточки медсестер, заплесневелые истории случайных знакомых, постараешься стерпеть запах пота и грязной одежды, будешь есть безвкусную еду и полеживать на своей кровати или же прогуливаться во дворе, болтая о том о сём с одним из тех пациентов, которые быстро находят общий язык из-за общей болезни, максимум же – станешь бродить по улочкам поселка, как какой-нибудь бездельник. Время от времени тебя будут навещать друзья: одни потому, что действительно за тебя переживают, другие потому, чтобы выше держать голову при встрече лицом к лицу, а третьи просто так, от нечего делать; изведя тебя всевозможными речами, они дадут на прощанье стандартные наставления и уйдут восвояси, а ты снова останешься наедине со своими мыслями, будешь чувствовать боль вперемешку с сожаленьем – и во время токовой терапии, и во время массажа, и лежа в ванне, – пытаясь разобраться в причинах этой боли, ты окончательно заплутаешь в лабиринте мыслей. Ты пока не спешишь разложить свои вещи и сам не знаешь, чего ждешь. Вот, наконец, ты обрел одиночество и спокойствие, которых так долго желал, по меньшей мере, надо, вроде бы, ощущать внутреннее умиротворение. По пути ты купил фруктов, ты достаешь из целлофанового пакета яблоко, как обычно, оттираешь его рукой, хочешь надкусить,

но, задумавшись, что зубы-то уже на такое неспособны, вынимаешь из кармана дорожной сумки складной нож. Лезвие ножа разрезает яблоко, точно скальпель, и в тот же момент ты ощущаешь острую боль в мизинце левой руки: лезвие, разрезав кожуру, впилось в кончик пальца, из мелкого пореза сочится кровь. Ты невольно трясешь рукой, капелька крови попадает на чистую страницу, ты весь уходишь в созерцание расползающегося по странице пятнышка и на какое-то время забываешь о боли в пальце. Пятно напоминает букву О, но рядом с ним маленькая точка: О. То есть, **O**[1] – вот и всё. «Ну конечно, Оно, – задумываешься ты, – Божественное Могущество. Именно благодаря Ему ты пришел в этот мир, и именно Оно станет причиной твоего ухода. Не думай, что раз ты сейчас жив-здоров, то так будет и впредь. Кто, кроме Него, знает, что случится через миг, минуту, через час?».

Ты человек не особо религиозный, даже шахаду толком не знаешь, намаз не совершаешь, не постишься, в мечеть ходишь только в поминальные дни, но в Нём не сомневаешься и даже не задумываешься, правильно это или нет, веришь, что есть Нечто великое за пределами Вселенной, в противном случае откуда могла бы взяться столь совершенная гармония во всем мире?

Естественно, пропадает всякое желание съесть яблоко, прижимаешь салфетку к порезу на мизинце и сначала бросаешь взгляд на пятнышко крови на листе бумаги, а потом смотришь в окно – на мокрый снег, который набирает обороты. «Ну, чего застыл как бревно, – упрекаешь ты себя, – разве не этого хотел, не по таким условиям тосковал всё это время? Теперь давай садись и пиши, постарайся унять словами всю душевную боль, что пуще боли телесной, может, немного успокоишься, найдешь облегчение?». Да, и о чем же ты собирался писать на сей раз? О любви, которую испытал, когда был молод, точнее, о чувствах, запрятанных глубоко внутри, о которых Та Девушка узнала много лет спустя, уже став Женщиной, оставив позади полжизни, когда всё совершенно изменилось, узнала и изумилась. С возрастом, с приближением неминуемой старости, тебе всё больше и больше хочется перенести на бумагу те чувства и переживания. Конечно, приводить ее имя ты не будешь, выдавать место ее проживания тоже, но всё-таки напишешь о Той Женщине, которую пестовал в сердце; наверно, случись ей прочесть, она всё поймет, ибо не сможет не понять, в том, что ты напишешь, будут такие ноты и оттенки, которые не смогут не показаться ей знакомыми, не смогут не пробудить воспоминания, покрытые пеплом прожитых лет.

«Должны… Но смогут ли?!». Обо всём этом ты раздумываешь, глядя на лежащее на столе яблоко, из которого ты всё еще не вынул нож, на ручку и бумагу, точнее, на одно крупное и одно мелкое пятнышко крови на листе бумаги. Пятна уже полностью впитались в бумагу, их цвет уже не красный, а черно-бурый. А кровь из пореза так и сочится, чем сильнее ты прижимаешь пальцем салфетку к ране, тем больше по ней расползается кровавое пятно. «Снаружи ветер, мокрый снег, а внутри, на небольшом столе, ручка с бумагой, почерневшие пятна крови… – думаешь ты, – ведь всё это должно тебе что-то говорить; как минимум, подтолкнуть к тому, чтобы ты сел писать… Ты же только этого и хотел, ну давай, наконец, садись и пиши…»

Но о чем ты станешь писать? Что, кроме потускневших, угасших воспоминаний, оставивших в тебе лишь толику боли, связывает тебя с Той Женщиной, которая, быть может, живет всего в нескольких шагах от этого здания? Может, твоя болезнь лишь повод, и направление в этот санаторий ты взял бессознательно, под диктовку шестого чувства? Естественно, в тот момент ты об этом не задумался, но как только

[1] Буква азербайджанского алфавита. В то же время «о» по-азербайджански – местоимение третьего лица единственного числа: он / она / оно.

автобус доехал до пригородного поселка, ты вспомнил, что она сама, когда вы случайно нашлись в социальной сети несколько лет назад, написала, что большую часть года, все праздники и выходные проводит в этом дачном доме, сбежав от городской суеты. Но глупо ждать чего-то большего от этого мимолетного, теплого дуновения. Дожил до седин, но еще не понял, что *там, где нет духовной близости, расстояние большой роли не играет*. У нее своя жизнь, свои заботы, свои мечты и желания, а то, что было лет тридцать тому назад, может, самое большее, вызвать приятную улыбку, добавить красок в воспоминания о молодых годах, смахнуть пыль с ее прошлого. Даже знай она, что ты здесь, совсем рядом, она не будет в силах переступить через себя, прийти и навестить тебя, она всего-навсего хранит некогда связанные с тобой чувства, как снятую на память фотокарточку, хранимую в отдаленных уголках сердца, на которую смотрят порой с чувством сожаленья и печали, вот и всё.

Ты бросаешь в мусорную корзину отяжелевшую от крови салфетку, перевязываешь рану носовым платком, засовываешь левую руку в карман куртки, а потом выходишь наружу, чтобы избавиться от этой тоскливости и убить немного времени. На этажах видишь по трое-четверо пациентов, пригвожденных к стульям, расположенным напротив телевизоров, настроенных на один и тот же канал. Ветер с силой захлопывает за тобой входную дверь, мороз обжигает шею и горло, ты крепче насаживаешь кепку на голову, затягиваешься сигаретой и всматриваешься в снег, тающий на каменных плитах. «Конечно, не будь у тебя желания писать, было бы сущей глупостью брать отпуск, приезжать на лечение в зимнюю пору, – думаешь ты. – Во-первых, твою боль не вылечить ни лекарствами, ни процедурами. Возможно, всё это поможет уменьшить боль физическую, а что ты будешь делать с душевными потрясениями? Ты сам не можешь разобраться с этой душевной болью, а бедный врач и подавно. Диета, ванны, гимнастика, массаж… всё это для тела, всё это бессильно добраться до души и принести ей хоть какое-то облегчение…»

Из противоположного корпуса выходят трое мужчин, подняв воротники курток и пальто, придерживая кепки, они неторопливо идут в сторону столовой. Ты вспомнил, дежурная медсестра сказала, что ты можешь показать направление и взять обед и ужин, всё равно зарегистрируют с этого же дня. Утром на цыпочках, чтобы не будить домочадцев, ты прошел на кухню и выпил стакан сладкого чая с парой ломтиков хлеба, но аппетита до сих пор нет, вдобавок ты стесняешься показывать бумажку и брать еду, хотя имеешь на то полное право. Может, именно это чувство побуждает тебя вернуться назад, подняться по унылым этажам и вернуться в свою комнату. Только зайдя в теплую комнату, ты понимаешь, насколько продрог.

Не садясь, ты смотришь на расположенные на столе яблоко, из которого не вынул нож, затем на ручку, и наконец на пятнышко «О.» на чистом листе бумаги. Конечно, ты мог бы принять увиденное за круг и придать тому следующий смысл: *«Круг замкнулся. Вот и всё»*. Если так, то ты снова приходишь к *неизбежной, неумолимой логике*: то, что ты проделал путь и пришел сюда унять свою боль – одна сплошная глупость; что, думал, найдешь в писании утешение?… максимум, обманул бы себя на некоторое время; а твои грезы о Той Женщине не соответствуют твоему нынешнему статусу порядочного главы семьи и не привнесут никакого смысла в твою жизнь; и потому ты совершишь грех, если дашь себе мучиться три недели в этом пригородном поселке. Лучше подари направление кому-нибудь из коллег, пусть тот уладит формальности и отдохнет, воздавая тебе молитвы. А ты по-прежнему станешь жить, мучаясь больше от душевных тягот, нежели от физических.

Как говорил поэт, а потом… а потом – будь, что будет…

Ты вынимаешь нож из яблока, складываешь и прячешь в дорожную сумку, кладешь ручку в карман куртки и отправляешь в мусорное ведро бумажную кипу с листом, замаранным пятном крови.

При выходе с сумкой в руках тебя посещает мысль о том, что пятно крови на бумаге сейчас обретает еще один смысл, который и в голову тебе не мог прийти.

Ты покидаешь здание, пытаясь забыть ноющую боль в мизинце, и не замечаешь, как дежурная медсестра, которой ты сдал ключи от комнаты, вся от удивления превратилась у порога в вопросительный знак.

Идя к остановке, думаешь: наверное, город сейчас полностью укутан снегом. И в эту секунду во все глаза жаждешь увидеть ослепительно-белый, чистый снег…

Смерть брата

Говорят, легкой смерти не бывает, но смерть моего брата оказалась сущим мучением…

Да и сам он, бедняга, был человеком бедовым, будто таким и родился упертым: по словам бедной моей матери, как только он появился на свет, сразу же вступил в сражение со всем миром, никак не удавалось его унять, брату ничего не приходилось по душе, всё должно было быть только так, только тогда и именно столько, как он этого хотел, в противном случае он житья никому не давал; в младенчестве всё это еще как-то можно было терпеть, мол, ребенок, пока ничего не понимает, но даже когда он подрос и мог вполне соображать, норова у него не поубавилось, наоборот, он стал еще нестерпимее – когда я только-только начал что-то осознавать, брат уже воевал со всем миром, никого и слушать не хотел, не давал ни себе, ни другим покоя до тех пор, пока не урывал своё. В ту пору у нас не было надежды на отцовскую строгость, после того, как он неожиданно покинул сей мир, брат пуще прежнего озлобился на весь белый свет и принялся мстить в открытую.

Но жизнь жалела моего брата. Мама рассказывала, что когда тому не было и двух лет, она в один из летних дней уложила его спать в гамаке, растянутом на ветках тутового дерева в нашем дворе, а в это время, оказывается, из кустов выползла змея, заползла на дерево, свернулась на груди брата и так и заснула; мама рассказывала: «Когда я пришла его проведать и увидела змею, от ужаса застыла, как вкопанная, не могла шевельнуться, потеряла дар речи, не знаю, сколько я так простояла, но отчетливо почувствовала, что поседела и постарела на целую жизнь: правда, уже в том возрасте он успел полностью меня вымотать, но материнское сердце – дело другое, этого словами не объяснишь. Я пришла в себя только тогда, когда наш пес сорвался с цепи, рванулся молнией, схватил зубами змею и швырнул ее наземь, а спасшаяся от собачьей пасти змея заползла в кусты, спасая свою шкуру. Кому только я не рассказывала об этом случае – никому не верилось, да и ты, наверно, не веришь, но ни змея не причинила вреда твоему брату, ни пес змее, видать, так Богу было угодно». Я нисколько не сомневался в маминых словах, так как она очень любила нашу собаку и ухаживала за ней, как за родными детьми, и я никак не мог переварить безразличного, даже заносчивого отношения брата – давно уже не малыша – к своему спасителю. Когда у мамы лопалась чаша терпения от проделок брата, она проклинала его следующими словами: «Пусть змея тебя ужалит! Даже гад ядовитый тебя не тронул, и пес не стал его убивать, а ты только и делаешь, что жалишь всех и каждого!».

Все эти слова нисколько не действовали на брата, наоборот, в такие моменты он не робел перед взрослыми, не боялся ни Бога, ни дьявола, считал себя чуть ли не властелином вселенной; в такие моменты мне казалось, что ни черт, ни сам дьявол не посмеют приблизиться к брату, он им такое устроит, что эти создания, сбивающие с пути благочестивых людей, сами собьются со своего пути.

Брат никакого интереса не проявил и к учебе: у него имелась лишь одна книжка и одна тетрадь, которые он с вызывающим видом засовывал за ремень и так и ходил в школу, вдобавок для него школа значила совсем другое: там находилось много людей, с которыми можно было устроить грызню, он никак не мог бы упустить шанса довести их до белого каления, напугать, побить, как говорится, «включить в сферу своего влияния»; не было недели, чтоб он не возвращался домой в порванной форме, с ушибами и ссадинами, синяком под глазом, но такие вещи не удручали его, а наоборот, делали более упертым, более драчливым, более воинственным. Уже все учителя, все взрослые махнули на него рукой, знали, что ничего не смогут добиться взбучкой, наказаниями, потому старались уговорить, как-нибудь с ним поладить, а не добившись и этого, ограничивались угрозами и проклятиями.

Тогда мне казалось, что брат из-за своего упрямства погибнет в драке…

Но он оставил школу в восьмом классе, увлекся всякими железяками, стал водиться с шоферами, благодаря им научился курить, пить, ходить к женщинам, в конце концов раздобыл откуда-то документы и влился в их ряды. Но надо быть справедливым – научился он не только этому, стал хорошо разбираться в тракторах, в машинах; честно говоря, золотые у него были руки, под его руками оживала вся мертвая техника, и по этой причине уже с подросткового возраста у него денег куры не клевали, но я ни разу не видел, чтобы он дал хоть немного денег матери, которая в одиночку несла груз всей нашей семьи, весь свой заработок он обязательно спускал если и не в день получки, то на следующий уж точно. О пирушках, которые он закатывал, уже ходили легенды, но вместе с тем он не стеснялся время от времени утруждать маму: то брал у нее мяса, то брал ее домашних птиц – индюка, гуся или курицу, собирал вокруг себя друзей и товарищей, и все вместе предавались долгим возлияниям; в такие моменты я точно знал, что спустя всего полчаса брат начнет распевать песни, читать стихи. Я всегда изумлялся, как такой человек, не проявлявший никакого интереса к урокам, книгам, чтению и письму, смог запомнить все эти стихи. А то, что он после каждого тоста причмокивал губами и восклицал «Мушш! Мушш!» – отдельная история: я до сих пор ни разу ни от кого не слышал столь своеобразной вариации выражения «Нуш олсун»[1], это была фирменная особенность только моего брата. Но самым ужасным было то, что он садился пьяным за руль; если в такой ситуации кто-нибудь пытался его образумить, встать поперек дороги, уговорить, он упирался как бык, и с еще большей горячностью исполнял задуманное.

Тогда я весь трясся от страха, что мы потеряем брата в аварии…

Но он ни разу не совершил аварии, для меня всегда оставалось непостижимым чудом то, как он в дупель пьяным проезжал по деревенским дорогам, целым-невредимым загонял машину и себя в ней во двор. Конечно, очнувшись от пьяного угара, он и сам не мог всего этого вспомнить, он выкуривал натощак сигарету, без всякой закуски опрокидывал стакан портвейна и отправлялся по своим делам. Мы уже давно ко всему этому привыкли, потому никто и не пытался давать ему советы и наставления.

[1] Приятного аппетита (азерб.).

Армейский период в жизни брата должен был стать для нас временем отдыха, временем благополучия: мы постоянно тревожились – не натворит ли он и там чего непутевого, но всё же надеялись надышаться за два года вволю, мы собирались жить с надеждой, что он «исправится»; однако наши опасения оправдались всего через три месяца: какой-то его друг, которого сам Бог знает, как он себе нашел в далеком краю, прислал телеграмму, где сообщалось, что брат попал в переделку, срочно нужны деньги, чтобы замять дело. Наши сердца обливались кровью, но делать было нечего, пришлось кое-что распродать, взять еще в долг, мы выслали деньги и инцидент замяли; но дело этим не кончилось, мы разорились в пух и прах оттого, что на каждые праздники отправляли посылки его командирам и деньги ему самому. А брат принимал все эти подношения с благоволением, присущим королям, и даже письма нам не писал – будто вовсе не он являлся виновником наших бед, изредка присылал открытки и тем самым ставил в известность, что пока жив-здоров.

Тогда я боялся, что брат попадет в тюрьму или дисбат и сгинет бесследно…

Но он вернулся из армии целым и невредимым. Неотесанности в нем чуть поубавилось, но претензии и заносчивость зашкаливали пуще прежнего; пару месяцев он ходил в обновках, что мы ему купили, тратил, что мы давали, отоспался, наелся-нагулялся, и в один из не очень прекрасных дней мы услышали, что он умыкнул девушку. Конечно, это был безжалостный удар – зажать нас в угол в такой неудобной ситуации, но сказать «наша хата с краю» мы ведь тоже не могли, не позориться же перед всем честным народом.

Мы крепче стиснули зубы и справились с очередной напастью, по мере сил и возможностей «обелили» и обустроили брата, выделили молодым одну из комнат в доме. Мы надеялись, что он, наконец, всё поймет, начнет зарабатывать и твердо встанет на ноги, да и нам поможет подняться; но выходило так, что он решил не обращать внимания на такие «мелочи» жизни, решил жить, веселясь и пируя. Нет, он работал и зарабатывал, но ни его семье, ни нам от этого никакой пользы не было; вдобавок, наша невестка походила на своего мужа, нисколько не задумывалась о завтрашнем дне, муж проматывал деньги в сторонке, а уцелевшие крохи – жена дома, оба удержу никакого не знали.

Мы от этого всего устали и отошли в сторонку, больше не вмешивались в их семейные дела, но когда у них один за другим родились дети, хлопот стало невпроворот – скандалы участились. Даже в этой ситуации брат не задумался о том, чтобы купить клочок земли, построить худо-бедно дом и зажить по-человечески, мы еле-еле его уговорили построить двухкомнатный домишко в нашем дворе. Всё это ни на йоту его не изменило, наоборот, став окончательно самостоятельным, он принялся всё чаще закатывать пирушки и даже не задумался о том, что надо хоть чем-то помочь матери, братьям и сестрам.

Проходили годы, дети подрастали, забот становилось больше, но семейный уклад брата никак не менялся. Как бы мы ни старались закрывать глаза – не выходило, мать отдавала его детям припрятанное на черный день, я делился сбережениями, а из домишки брата частенько раздавались звуки песен. Порой я задумывался, как он физически способен тянуть весь этот груз – и диву давался; порой по ночам я искал на путях-дорогах этого беспутного человека, находил пьяным и волок домой чуть ли не на своей спине.

В те годы у меня было чувство, что сердце брата не выдержит всего этого груза…

Но сердце брата оказалось здоровым, беда ударила его в мозг, эта весть не удивила меня, мне просто стало жаль человека, который из-за какого-то непонятного упрямства бросил себя в лапы смерти. Когда с криком «Дядя, скорей!» прибежал его младший сын, я даже представить не мог, что ситуация настолько критична: перед моими глазами находилось вызывающее острую жалость существо с парализованной левой частью тела, искривленным ртом, не способное произнести ни единого слова, существо, у которого вместо губ безмолвно говорили глаза, короче говоря, тот, кто пал в битве с миром. Врачу тут делать было уже нечего, никакие лекарства и операции не исправили бы сложившуюся ситуацию, свою жизнь, пущенную на ветер, как и заработанные деньги, брат завел в неизвестный тупик, после этого даже сам Бог был бессилен вернуть его к прежней жизни.

С тех пор я настолько привык к словам «Дядя, скорей!», что дал себе полушутливое-полусерьёзное прозвище «Дядя-скорей». Меня звали и я шел, смотреть в лицо брату не мог, при необходимости вызывал врача, помогал, как мог, и в те минуты мое сердце обливалось кровью, от беспомощности я готов был сойти с ума. Никто, кроме Бога, не ведал, сколько продлится это ужасное положение. «Полгода или несколько лет, – неопределенно говорил врач, – сложно уточнить. Сердце у него здоровое, может, долго потянет». Бедная моя мама умерла от горя; зачахла оттого, что всё видела, но не могла закрыть глаза, за пару лет она растаяла, как свеча. Меня доводило до белого каления то, что брат не узнал о ее смерти, как минимум, оказался не в силах подставить плечо под ее гроб и тем самым смыть часть своих прегрешений. Тогда я подумал, что если сам окажусь в подобной ситуации, соглашусь на свою смерть, не стану есть или прирежу себя не вполне отсохшей правой рукой, чтобы не мучиться. Однако врач, услышав эти мои слова, не поверил: «Жажда к жизни столь сильна, – сказал он, – что даже на смертном одре человек цепляется за нее, как утопающий за соломинку». Не знаю, может, всё так и есть.

Когда я в последний раз услышал крик «Дядя, скорей!», всё было кончено, после этого надо было думать о том, как справиться с погребением и поминками. Тяжесть лет и ярость на не пожалевшего самого себя человека оказались столь сильны, что я разрыдался и будто вместе с рыданьем излил всю накопившуюся боль и горечь, а немного придя в себя, стал думать о хлопотах, ожидающих меня впереди.

Я не смог подставить плечо под гроб брата, как ни заставлял себя – не смог. Конечно, в этом моем поступке никакой злобы и мести не имелось, просто ныли мои плечи, натертые оттого, что я долгие годы носил на них весь его груз. Дорога, ведущая на кладбище, тоже оказалась длиной в целую жизнь, всё тянулась и тянулась. Вдобавок, сам Бог того хотел или нет, но когда молла принялся читать заупокойную молитву, у него запершило в горле, голос осекся и захрипел, молла весь посинел, спустя какое-то время он пришел в себя и продолжил молитву, но и тут его голос заглушил рёв вертолета, пролетающего над кладбищем; в ту минуту я глядел на растерянное лицо моллы, на его словно беззвучно шевелящиеся губы и думал: слышит или нет душа брата заупокойную по себе. Когда рёв остался позади, тело уже опускали в свежевырытую могилу.

А потом пошел ливень, будто пытаясь поскорее смыть с лица земли грехи моего брата.

Я стоял под дождем и смотрел на маленький земляной холмик – всё, что от него осталось…

Толчок

…Проснуться внезапно сильно за полночь, точнее, прямо под утро, будто от толчка какого-то невидимого человека, открыть глаза и долго-долго смотреть на серую стену, тебе покажется знакомым пятно на локте, образованное от постоянной опоры во время сна, но это знакомство покажется туманным спросонья; спустя немалое время перевернуться на спину и уставиться на выкрашенный в более светлый цвет потолок, самым серьезным образом пытаться понять, где же ты находишься, и снова затрудниться прийти к какому-то результату, наконец, перевести взгляд с потолка на знакомый серый, прямоугольный провал окна и понять, что ты находишься не в чужом месте, а в родном доме, где проживаешь уже долгие годы, понять и обрести некоторую уверенность, и следом попытаться понять, откуда берется этот толчок, который в последнее время будит тебя так некстати, но на ум тебе снова приходят не мелочные заботы, переживания, связанные со здоровьем причины, а совсем неожиданная мысль, которую ты иронично называешь «философско-умудренной»: вот так и проходит жизнь – в обыденности, монотонности, серости, а ты, то ли будучи не в силах изменить цвет и направление потока, то ли понимая, что отныне всё поздно, как убогое создание Бога осоловело хлопаешь глазами, напоминая пассажира попавшего в бурю корабля, переставшего на что-либо надеяться, который только и ждет, когда его судно налетит на прибрежные скалы и разобьется вдребезги; но на сей раз, ожидая бедствия, попытаешься уточнить, из чего же состояла обыденность, монотонность, серость прошедшей жизни, подумать о том, что, слава Богу, хоть ты и не богатей, но и на дне жизни не находишься, тьфу-тьфу, живешь лучше многих, в семье и среди родных все живы-здоровы, да, у тебя нет роскошной квартиры, дачи, автомобиля, круглого счета в банке, но никаких особых материальных затруднений, кроме пары мелких долгов, тоже нет, раз в месяц можешь устраивать застолье с друзьями, раз в год ездить с семьей на отдых в ближнее зарубежье, и всё это устраиваешь за счет своей средней зарплаты и посланного Богом приработка, а если еще и приведешь в порядок мелкие проблемы со здоровьем, то возникнет картина чуть ли не счастливой личной жизни, но тем не менее ты совершенно не считаешь себя счастливым, вдобавок, думаешь, что вся прожитая жизнь пошла насмарку…

Когда поток мыслей доходит до этой точки, замечаешь, что серый провал в окне немного смягчился, прояснился и стал податливее, и думаешь, да, наступает еще одно осеннее утро, начинается очередной монотонный, серый день, встаешь, как обычно, и раз пять-шесть ворочаешь руками, будто делаешь зарядку, ведешь здоровый образ жизни, потом на цыпочках, стараясь не будить жену и детей, проходишь в туалет, после побреешься, умоешься, и так же на цыпочках шмыгнешь на кухню, выпьешь стакан сладкого чая с парой-тройкой кусков хлеба с сыром, на цыпочках же вернешься в свою комнату и станешь готовиться к работе, соберешь портфель и выйдешь из дому, как обычно, в серых утренних сумерках минуешь улицы и переулки, позволяя сырости добраться до костей, доберешься до автобусной остановки и, глядя на лица стоящих там людей, примешься выискивать хоть капельку света, но так и не найдешь, будто тот свет ушел восвояси, вот ты и опустишь руки, дожидаясь автобуса, а когда он подъедет, втиснешься кое-как и поедешь на работу; если повезет (это случается раз в неделю, раза три-четыре в месяц), сядешь рядом с Той Женщиной или напротив и жадно примешься впитывать исходящий от нее свет,

которого тебе хватит на несколько дней; а эта молодая, красивая, сдержанная женщина словно чувствует, что является раздатчицей света, и что ты именно этого от нее и ждешь, при виде тебя на ее губах и в зеленых глазах появляется улыбка, которую способен заметить лишь ты, и ты принимаешь это за приветствие, за знак некой теплоты между вами; вот так ты и едешь в утренней серости и сырости, держась за тот свет, конечно же, мечтаешь, чтоб дорога тянулась бесконечно, никогда не заканчивалась, но радость твоя недолговечна, женщина сходит раньше тебя, сходит с той же улыбкой на губах и в глазах, а ты находишь утешение лишь в том, что, по меньшей мере, завершишь этот день, будучи преисполнен светом; несколько раз тебе хотелось заплатить за проезд Той Женщины, а если та станет возражать, сказать, что я оплачиваю не проезд, а подачу света, я должен оплатить, чтобы Вы мне не отключили свет, но ты никак не решаешься осуществить этот план, а когда автобус добирается до ее остановки, Та Женщина смотрит на тебя прощально, сдержанно сходит и смешивается с толпой, и в ту минуту будто иссякает весь свет утра и города; до места работы ты шагаешь в серости, но храня и лелея в душе свет Той Женщины; успеваешь еще задуматься о том, что, по сути, серость будней никак не связана с естественным светом, тем более, с электрическим: ведь годы состоят не только из зим и осеней, есть еще вёсны и лето, жаркие дни, когда не продохнуть и не раскрыть во всю ширь глаза, но тебе чудится, что и в этом свете, и в этой жаре присутствует какое-то серое, туманящее душу, застоявшееся, мертвящее дыхание, постепенно завладевающее твоим внутренним миром, дела, которые ты делаешь на протяжении дня, люди, с которыми встречаешься, беседы, которые ведешь, компании, в которые иногда включаешься – всё это окрашено оттенками той самой серости…

В эту минуту нужно отвести взгляд от серого провала прямоугольного окна и снова уставиться в потолок, подумать, что, безусловно, срок, именуемый жизнью – не что иное, как возможность существования, дарованная Богом, да и то ты не во власти прожить так, как хотелось бы: есть неизбежность, именуемая предначертанием, судьбой, долей, и ты не волен вырваться из их круга, все люди, столкнувшиеся с жизненными неурядицами, пали жертвой своего желания внести неуместные поправки в собственное предначертание; но в этом деле есть странная оборотная сторона: внести поправки в предначертанное и остаться лицом к лицу с неурядицами, или склонить голову перед предначертанным, судьбой, долей и жить так, как абсолютное большинство считает «комфортным»; быть может, кому-то предначертано остаться лицом к лицу с неурядицами, в таком случае желание этого человека жить «комфортно» означает идти против судьбы – может, тебе предначертано жить именно так «комфортно», то есть жить по принципу «утром на работу, вечером домой», лезть из кожи вон, чтобы заслужить титулы «прекрасного специалиста» на работе, «достойного главы семьи» дома, и «хорошего человека» среди друзей и знакомых, а когда придется – пожертвовать всеми личными желаниями, а в один из прекрасных дней отойти в мир иной естественной смертью и заслужить пожелания отправиться в рай; ведь человек, которому предписана такая вот судьба, не способен выдержать больших успехов или неудач, жестких потрясений, к примеру, вдруг взять накопленные на «черный день» сбережения и полететь в далекую, сказочную страну, либо влюбиться в какую-нибудь непутевую женщину и бросить жену с детьми, или неожиданно получить высокую должность, стать средоточием власти в крупном управлении, ибо твоя болезненная серьезность, совестливость и ответственность настораживают других, отпугивают, поэтому никто не может притерпеться к людям, с

которыми непросто найти общий язык, и по этой причине твоя жизнь пройдет и завершится на той же накатанной колее…

По оттенку серого цвета на потолке ты понимаешь, что пора вставать, собираться на работу: когда отсутствуют неожиданные толчки, ты просыпаешься именно в это время, за прошедшие годы ты так привык ложиться и вставать в одно и то же время, что по вечерам, когда время бодрствования подходит к концу, твои глаза закрываются сами собой, обмякает тело, а по утрам ты просыпаешься за несколько минут до будильника телефона и сладко ворочаешься в удобной постели, пока не затренькает будильник; вот и сейчас примерно минут через десять послышится звон, ты прервешь надоедливое треньканье и потратишь несколько минут на то, чтобы освободиться от сладкого плена теплой постели, затем свесишь ноги вниз и просидишь вот так от силы полминуты без всяких мыслей в голове, дальше встанешь и включишь свет, приведешь в порядок постель, несколько раз покрутишь руками-плечами, поприседаешь, будто занимаешься гимнастикой, стараясь не будить домочадцев, проберешься на цыпочках в туалет, умоешься – остальное ясно, как день; теперь же этот распорядок портил лишь неожиданный толчок, разбудивший тебя гораздо раньше положенного времени; ты припомнил и то, что, по сути, в последнее время несколько раз ощущал этот самый толчок, пару раз не обратил серьезного внимания, лишь в третий раз испытал непонятное беспокойство, в третий раз тебе на ум пришла неслучайность этого толчка, но ты опять не стал заходить слишком далеко и стал искать причину в событиях прошлого дня и событиях дня предстоящего; по твоим расчетам, только что случился четвертый толчок, конечно, это уже далеко не случайность, все эти ранние пробуждения обязательно должны иметь какую-то причину, а почему ты до сих пор не задумывался всерьез об этой причине, уму непостижимо; ну, даже если б задумался, ты совсем не уверен, что решил бы эту проблему, может, именно поэтому в твоем сердце поселилась смутная тревога, связанная с тем, чтобы не раздувать этот неожиданный толчок, не усложнять всё, как говорится, не делать из мухи слона; конечно, этот толчок не мог быть вызван мелкими ежедневными заботами, ведь дома, в семье всё в порядке, ничто не вызывает серьезного беспокойства, максимум, у тебя пара мелких проблем: настал срок оплаты небольшого кредита, возьмешь немного из зарплаты, немного из сбережений на «черный день»и оплатишь свой долг, в этой жизни у тебя нет каких-то больших желаний и амбиций, чтобы жизнь на них положить; но, несомненно, всё это случается неспроста, наверное, есть всё-таки причина, к тому же основательная, и эта причина может перевернуть весь твой жизненный уклад…

Когда распутается клубок твоих мыслей и дойдет до этого пункта, вдруг в серой пустоте комнаты раздастся угрожающий звон будильника и заставит тебя вздрогнуть, раздует беспокойство, которое ты испытываешь от неожиданного толчка, доведет до нестерпимого состояния, став чуть ли не в вестником непостижимой беды, а ты свесишь ноги с кровати, запыхаясь, протянешь руку и постараешься вырубить этот ужасный звон, и в ту секунду изумишься ватной невесомости своего тела, немощности пальцев, дрожи рук, а потом, продолжая пребывать в этом состоянии, успеешь подумать, что, по сути, ничего из ряда вон выходящего не случилось, надо встать, собраться на работу, прожить еще один день, отпущенный Богом; вот так, встав и приводя в порядок постель, выполняя десяток движений, будто занимаясь гимнастикой, снова пробираясь на цыпочках в туалет, дабы не разбудить жену и детей, бреясь и умываясь, завтракая стаканом сладкого чая с тремя кусками хлеба с сыром,

так же на цыпочках возвращаясь в комнату и одеваясь, беря портфель и осторожно закрывая за собою дверь, минуя улицы и переулки по пути к остановке, ты попытаешься прогнать эту неожиданную тревогу из сердца, но, садясь в автобус, внезапно осознаешь, что этот толчок связан с Той Женщиной, точнее, улыбкой на ее губах, светом в ее глазах, осознаешь, что жизнь подходит к концу, но у тебя никогда не было Любви с такой вот женщиной; подумаешь, что, правда, в твоей жизни было что-то похожее на любовь, та, которую любил ты, не любила тебя, тех, которые любили тебя, не любил ты сам, а в конце концов ты смирился и женился на порядочной девушке, любви и высоких чувств между вами не было, но вы привыкли друг к другу, стали отцом и матерью, у вас дом и семья, относительно комфортная жизнь, в глазах многих вы даже живете хорошо, вы проживете спокойную жизнь без лишних потрясений, дадите детям образование, жените и выдадите замуж, будете нянчить внуков, но вместе с тем не было у тебя Любви, которая потрясла бы тебя, отняла бы всю волю, добавила бы красок в твою жизнь, о такой Любви ты читал только в книгах, видел в фильмах, слышал от других; и ты подумаешь, что, может, и Та Женщина, чувствуя твои взгляды на своем лице, думает о том же, может, и она прожила всю свою жизнь в поисках сказочной Любви; подумаешь, что, может, и Та Женщина устала от серых будней, но, как и ты, уже не в силах что-либо изменить в своей жизни: она тоже ходит на работу, ест, гуляет, встречается с друзьями и подругами, вполне возможно, что имеет тайного любовника, но делает всё это неохотно, как жизненную необходимость – это можно уловить по тоске, а может, усталости, изнеможению в глубине ее глаз; от этих проскочивших в твоем сознании мыслей, от немыслимой близости, которую ты ощущаешь между собой и Той Женщиной, твои нервы могут так напрячься, что ты резко вскочишь с места, твой взгляд на мгновение зацепит ее полные изумления глаза, и ты совсем опешишь от безмолвного чувства родства в тех глазах, но не найдешь в себе сил, чтобы вымолвить хоть слово, и вдруг очнешься и поймешь, что уже сошел с автобуса, до работы надо пройти пешком несколько остановок; довольно долго оглушенно простоишь на остановке, а потом, чуть придя в себя, задумаешься, шагая в серости, что сегодня надо оплатить кредит, надо после работы зайти в банк по пути, а еще купить детям фруктов…

…Когда вечером ты ложился в постель, всё это промелькнуло в твоем сознании, находящемся между бодрствованием и сном, этот неожиданный толчок действительно случился в четвертый раз, а теперь, проснувшись, ты сперва взглянул на серую стену, к которой был повернут боком, затем бросил взгляд на пятно на локте, затем повернулся на спину и уставился в потолок, следом повернулся к окну и вернулся в реальность, наконец, свесил ноги с кровати и приготовился встать, ты задумался о том, пойдет или нет дальше всё по той же проторенной дороге; конечно, неожиданный толчок на сей раз оказался сильнее прежних, он вполне мог хотя бы раз в жизни сбить тебя с твоего прямого пути и к тому же не иметь никакого отношения к Той Женщине, но тем не менее совершенно изменить твою жизнь…

Затем ты уперся ступнями в пол и решительно выпрямился…

АЛИНА ТАЛЫБОВА

МНОГОТОЧИЕ или НИ ДНЯ БЕЗ ХАЙКУ

Утро

Проснулся от поцелуя,
влажен он был и жарок…
Благословенны собаки.

Актер

Снимает яркую маску,
лицо потирает устало…
Но и оно – на тесемках.

Встреча

Прошел навстречу ребенок –
тот, что на старом фото
смеется в объятьях мамы…

Сожаленье

Не учился я нотам,
и приснившаяся мелодия
на руках у меня умирает.

Учитель

Слетаются юные птицы,
жадно требуют корма.
Крошу им себя понемногу…

Лампа

Купили новую лампу.
Включил –
и жизнь озарилась
таинственным новым светом.

Пальто

«Выцвело я, измялось,
ветер свистит в карманах…»
Пальто на меня похоже.

Без отопления

В хижине многоэтажной
зябкие грею ладони,
костёр разложив в гостиной.

Памяти друга

1
Ветер качнул деревья,
птицы взметнулись в небо.
Друг мой –
четвертый слева...

2
На мейл пришло сообщенье
от умершего адресата.
Пишет – уже обвыкся...

Падучая звезда

Семь миллиардов желаний
за пару секунд полета –
с какого же ей начать?..

Зависть

Белая, черная... Так ли
уж важно, какого цвета
плащ на моем убийце?..

Одиночество

1
Женщина в полночь целует
свое отражение в губы...
О раму стучит кулачками.

2
Одноразовые носки,
одноразовая посуда,
одноразовая жена...

Унесенный осенью

Не вернусь...
Истекая дождями,
заигрался я в камушки с ветром,
заблудился я в хризантеме...

Туман

Брожу в тумане...Шлёпнул по руке
драконий хвост,
принцесса промелькнула
в венчальном платье...

На прогулке

Волчьи ягоды –
напоминанье из детства
о горькой сладости жизни.

В дороге

Крохотный полустанок.
Вспомнилось: здесь я прожил
одну из реинкарнаций.

Старый фильм

Флёр «прекрасной эпохи»:
громче атомных взрывов
пение Шантеклеры.

Полтергейст

…А в расселенном доме
тихонько скулят ночами
брошенные домовые.

На мосту

Прохожие щелкают селфи
на фоне самоубийцы –
вот-вот отпустит перила…

Брачный контракт

И мы с ней взошли на ложе…
Чтоб встретить там адвоката
с очередной поправкой…

Искусство пластики

Сияют прелестью юной
злобная старая шлюха,
подонок, идущий по трупам…

Из дневников нео-Колумба

Набравшись дрянного «Red Bull»-а,
пляшет глупое племя
с гаджетами в носу.

Презумпция веры

Я бы поверил в Бога –
если бы он поработал
медбратом в хосписе детском…

Время

Огнедышащей лавой
сползает за нами по склону –
куда бежать нам, помпейцам?..

Влюбленные

Сойтись на мостике шатком
над бездной непониманья.
Взявшись за руки,
кануть в небо...

У картины

Шагнуть за раму –
очнуться
в кухне фламандской. Поправить
чепец, заняться обедом...

Поэт

Исписанный до предела,
блокнот мой полон стихами –
вот-вот потекут через край...

Многоточие

Люблю многоточья в тексте...
И, уходя, поставлю
жизни в конце – многоточье...

Журналистика, наши дни

Крикливая наглая баба,
к дверям приникшая жадно
соседских спален и ванных.

Ненастный день

Мириады дождинок
к стеклу моему приникли.
В каждой – чье-то лицо...

ЛЯМАН БАГИРОВА

Топот

И на голой черной вербе
Луч холодный не дрожит.
Блещет небо, догорая,
Как волшебная земля,
Как потерянного рая
Недоступные поля.

Д.Мережковский

Все говорили (сначала шепотом, а затем – бойчее, вслух), что после болезни Сенин стал другим. Не особо изменившись внешне – тот же густой ежик подстриженных волос, те же полупрозрачные, в проголубь, глаза, вислый нос и впалые щеки – внутренне он словно повернулся в три четверти. Так бывает, когда человек стоит на пороге и, чуть-чуть развернувшись в сторону двери, собирается уходить. Но что-то задерживает его: необходимость ли последнего жеста, слова ли… «Ну, я пошел», – и уже занесена нога через порог, но шаг еще не сделан, и так и застывает на мгновение в задумчивости – «что-то еще сказать хотел, да забыл». И вот в этом невысказанном слове, несделанном жесте и пребывал Сенин душевно. Надо сказать, это его серьезно угнетало. Только кажется, что недуги заканчиваются на нас и дальше никуда не распространяются. Отнюдь! Плоть только тюрьма для недуга, он наполняет ее, разъедает ржавчиной, и вот уже стены тюрьмы становятся хрупкими, тебе уже велико или мало собственное тело, словно одежда не по размеру. Недуг вырывается наружу, торжествуя, отравляет все вокруг. Отношения с людьми, окружающим миром, привычки, порой даже принципы – все трещит по швам, отражаясь в жестоком оскале болезни.

Сенин и сам не заметил, как его стали раздражать здоровые, энергичные люди, ритм его собственной жизни безнадежно отставал от их – бодрого, заведенного, как музыкальная шкатулка, на одну мелодию: «Кто хочет, тот добьется, кто весел, тот смеется, кто ищет, тот всегда найдет! Та-та-та-там!!!!». Боже мой, он не хотел ничего добиваться, да и чего еще добиваться ему, профессору романской филологии, заведующему кафедрой в университете, написавшему уйму научных трудов и выпестовавшему не один десяток специалистов. Почет, регалии, слава, крепкая семья, надежный тыл, или, как там говорили в недавнем прошлом, ячейка общества – все вроде есть, ничем не обделен.

Он просто хотел жить: вдыхать, как счастье, осенний воздух, пропитанный запахом отцветающих дубков и квашеной капусты; видеть, как сосед Ларионыч настаивает в гараже свою знаменитую облепиховку – крепчайшую светло-желтую водку с терпким ароматом ягод; слушать, как шуршат об оконное стекло опавшие листья клена – видно, им тоже было холодно, и они деликатно постукивали в окно покрасневшими пальцами; наблюдать изо дня в день, как степенно и даже величаво при-

рода готовилась к зиме. Бледнее становились краски неба и воды в реке, мрачнее одежды прохожих на улицах – независимо от пола сплошь черные, серые, синие куртки, иногда разбавленные яркими пятнами шарфов. Зато отдыхал глаз на роскоши осенних рынков – от обилия сочных красных, оранжевых, желтых, темно-зеленых, коричневых красок становилось тепло на душе.

Семья Сенина состояла из семи человек – он сам, жена, дочь, сын, невестка и две внучки. Если быть точным, то восемь. Еще кот Барон – серьезный зверюга в семь килограммов веса, не признающий за хозяина никого, кроме Сенина. Порой ему казалось, что Барон – единственный, кто способен даже не понять, а предчувствовать его. Предчувствие больше и пронзительнее, чем понимание и просто чувство. Сенин только начинал ощущать беспокойное состояние – предвестник холодной боли в сердце и коленях, как Барон, словно ниоткуда, возникал на мягких лапах, щурил умные зеленоватые глаза и осторожно вспрыгивал на колени. Потом прижимался лобастой головой к левой стороне груди и начинал тихо тарахтеть. Боль не отступала – ей надо было довершить свой виток, но становилась глуше. Сенин клал под язык таблетку и, усмехаясь, шептал про себя давно любимые строки:

Любовник пламенный и тот, кому был ведом
Лишь зов познания, украсить любят дом
Под осень дней большим и ласковым котом,
И зябким, как они, и тоже домоседом.[1]

Семья – какое странное слово… Семь я – семь раз отраженный я. «Я» – растворенный в близких и родных людях. Полная гармония. Бред… Возможно ли это? В доме должно быть уютно и радостно. Дом должен манить к себе, а Сенину все чаще хотелось убежать, прихватив с собой лишь Барона. Но бежать было некуда, вожделенная свобода заключалась для него в девяти с половиной квадратных метрах – кабинете в стометровой квартире – и иллюстрациях к детской книжке. Эта книжка была одной из немногих, оставшихся у Сенина с детства, и чудом пощаженная его внучками. Он любил иногда рассматривать картинку, где был изображен беззаботно шагающий по дороге мальчик с котомкой за плечами. Детям нужны четкие, яркие краски, поэтому мальчик на картинке все так же шагал по зеленой дороге в бесконечную синюю даль, и сердце Сенина рвалось в тоске и некоторой зависти. Он был маленьким, затем молодым, зрелым, здоровым, стал пожилым, больным, покореженным жизнью, а мальчик по-прежнему свободен и весел, и солнце по-прежнему озаряет его дорогу.

До болезни Сенин не замечал семьи. Она существовала, он был рад ей, как гаранту чего-то незыблемого, правильного и цельного – в жизни все должно идти своим чередом и иметь крепкие основы. Семья и была основой – словно воздух, который необходим, но о котором вспоминаешь, лишь когда ощущаешь его нехватку.

И сейчас, вынужденный из-за болезни больше находиться дома, он с удивлением обнаружил, что семья научилась жить без него. Нет, безусловно, за него тревожились, волновались, но как только отступила угроза жизни и напряжение спало, все вернулись к обыденной жизни. И в ней ему, Сенину, не было места, словно и не он был хозяином этих 100 метров в элитном доме с видом на набережную и небольшой, но уютной дачи, заросшей диким жасмином.

[1] *Бодлер «Кошки»*

День его начинался… разнокалиберным топотом. Сквозь сон (спать ему теперь надо было много, что тоже вызывало досаду – нелегко, будучи деятельным и энергичным человеком, резко сбавлять обороты!) он слышал, как вначале мимо кабинета, где он спал, пробегала жена. Трак-так-так-так-так! Трук-тук-тук-тук-тук-тук! И топот ее был похож на бег постаревшей Золушки, при условии, если Золушка до конца дней своих так и осталась бы на кухне. Жена всегда была чем-то взволнована, продольная складка не исчезала с ее лба, ей всегда было некогда, она всегда была занята: приготовлением обедов (чем замысловатее, тем лучше), насморками внучек, сердечными делами дочери, разработкой краткого курса домоводства для нерадивой невестки («Ну, ничего не умеет, откуда только руки растут!»), посадкой цветов на даче, посещением салонов красоты, магазинов. И все это делалось с тем же серьезным выражением лица. Сенин дорого бы отдал, чтобы выяснить, какие такие глобальные проблемы и мировая скорбь терзают его благоверную, что даже улыбку, простую шутку она считает чем-то крамольным и легкомысленным.

«Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Серьезное лицо – это еще не признак ума» – как-то провозгласил за общим столом Сенин известную фразу из известного фильма и тут же осекся. На него устремились два недоумевающих голубых глаза постаревшей Золушки. Не глаза, а глубокие маленькие колодцы, они мгновенно наполнились влагой. «Бог мой, а постарела-то как! – вздохнул Сенин про себя. – И салоны не помогают». Ему стало жаль жену. Спокойная старость – это, пожалуй, все, на что она может рассчитывать. Не стоит требовать от нее многого. Сенин усмехался, вспоминая, как однажды, во время кризиса болезни, он спросил ее, не страшно ли ей будет, если он умрет? Спросил просто так, больше в шутку, чтобы отвлечь ее и отвлечься самому, и вздрогнул, как от толчка: «Да Бог даст, не умрешь», – буднично ответила жена и опять продолжила разговор о повышении цен, об учебе дочери, о работе сына, о нерадивости невестки. Его поразило тогда – жене и впрямь будто безразлично – умрет он или нет. Или она просто не допускала этой мысли? В ее сознании, где все было наделено важным, мрачным смыслом, и даже улыбка казалась чем-то крамольным, она все же ни на секунду не вычеркивала его из живых, и за это Сенин был ей благодарен.

«До-дак-до-дак, до-дак-дак-дак» – солидно простучали тапочки сына. Он первым выходил из своей супружеской спальни: на работу надо было идти рано. Сенин улыбнулся любяще. Хороший парень, умница, два института окончил, трудяга, а самое главное – правильный. С таким надежно. И собой недурен, и в обществе умеет себя держать, не скучный, а друзья его до сих пор молодоженом зовут. Влюблен до сих пор в Ирину, жену свою, и это после девяти лет брака. При этом не особо и подкаблучник. Словом, не муж, а подарок к 8-му марта, недаром теща на него надышаться не может, а вот жена…

Сенин почувствовал легкий, но пока приятный холодок в сердце, повернулся на другой бок. Барон, спавший в ногах, вскинулся:

– Хорошо все. Спи, – пробормотал мужчина.

Кот с полминуты изучал его пытливым взглядом, потом опустил мохнатые веки.

Сын был жаден до учебы. Он учился всегда: если не читал, то что-то мастерил, выжигал, выпиливал, сажал, растил, ухаживал за зверями и птицами, играл на пианино. В 11 лет расплакался, когда мать не разрешила ему взять с собою на курорт «Илиаду» и «Одиссею». Огромный, иллюстрированный том весил примерно с четверть пуда и занял бы половину чемодана. Сенин с трудом отговорил его от этой

затеи, пообещав, что подробно перескажет ему сюжеты гомеровских поэм. Тогда он впервые почувствовал в сыне неуемную страсть к моменту – если что владело им в какую-то секунду, то он должен был достигнуть своей цели во что бы то ни стало. Затем страсть могла угаснуть, но сын оставался благодарен своему увлечению. Этим Сенин гордился в сыне и этого же страшился. Он мог увлечься пустыми приманками, достигнуть желаемого, но из внутреннего благородства не оставить его потом. Чувствовала в нем эту черту и мать, и нередко слезливо жаловалась мужу, прося воздействовать на сына. Но Сенин, распознав в том редкостное благородство и упорство, угадал и запредельную ранимость души и молил судьбу, чтобы была благосклонной к сыну. Сенин не был набожен, но сын, первенец, был его слабостью, его затаенной тревогой – и он просил высшие силы уберечь его от слишком больших потрясений и переживаний.

«Цкурт-цкурт-цкурт» – простукали каблучки невестки Ирины. Сенин внутренне подобрался и тут же одернул самого себя: «Вольно, товарищ ефрейтор! (из армии он возвратился в чине ефрейтора). – Вы не на плацу, а в собственной постели! А это не сапоги генерала, а туфли вашей невестки!» И все же перед Ириной он испытывал странное, сложное чувство – уважения, смешанного со страхом. Впервые этот страх он почувствовал, увидев глаза своей будущей невестки, а тогда еще девушки сына. Они были необычного желтого цвета, то есть настолько светло-карие, что на свету казались совершенно желтыми, тигриными. Ирина была прекрасно воспитана, безукоризненно и скромно одета, правда, Сенин догадывался, что эта нарочитая скромность стоит больших денег – отец девушки занимал какой-то крупный пост, она знала несколько языков. Кроме того, она была стройна, красива, от ее облика веяло какой-то особой чистотой, но в то же время и холодом. Сенин даже сейчас поежился под теплым одеялом. Ирина напоминала ему ведущую некогда популярной телепередачи «Слабое звено», при взгляде на которую хотелось вытянуться во фрунт и крикнуть «Ахтунг, ахтунг!».

Ирина никогда не выходила из комнаты неприбранной. Даже утренние халаты ладно и ловко облегали ее фигурку, а тапочки вообще были отдельной песней! Невестка не позволяла себе ни мохнатых огромных кроликов и собачек на ногах, ни разношенных, удобных резиновых тапок. Нет, у нее была настоящая домашняя обувь – изящные бархатные сабо на небольшом каблучке – малиновые, черные и синие. Она чередовала их по дням недели и считала, что женщина не имеет права появляться на людях без каблуков, потому что они держат фигуру и осанку в тонусе и не позволяют расслабиться. Жена Сенина внимала этим речам с легкой долей зависти, дочь – с безразличием, а сын… Впрочем, Сенин понимал,почему сын так очарован женой: в ней – на каблуках или без – угадывался стальной внутренний стержень, огромная направляющая сила, которой невозможно было не подчиняться.

Однажды Сенин проснулся ночью, вышел в коридор и замер. Он впервые не узнал Ирину. Она стояла перед большим зеркалом, как всегда, в аккуратном халате и синих сабо (интересно, как умудрилась пройти бесшумно?) и мазала лицо кремом. И богатые волосы ее, обычно забранные в прическу или привольно лежавшие на плечах, сейчас были спрятаны под косынку. Голова оттого казалась странно маленькой на длинной красивой шее. Ирина услышала шум, повернулась, и Сенин на мгновение перехватил взгляд немигающих желтых глаз.

«Змея», – успел подумать Сенин, и в тот же миг картинка распалась. Ирина моргнула, улыбнулась, спросила, не хочет ли он чего-нибудь и, получив отрицатель-

ный ответ, ушла в спальню. Сенин так и не заснул в ту ночь, пытаясь разгадать тайну под названием «Ирина», тайну неведомой души, живущей с ним под одной крышей, и чем больше думал над ней, тем больше убеждался в ее непостижимости.

«Швох-шварк, швох-шварк-шво-о-х-х!» – длинно, словно лыжный след, прошумели тапки дочери. Сенин усмехнулся. Вот уж кто действительно не заморачивался ни о чем! Как есть, встала, как есть, пошла. И плевать ей на то, как она выглядит – нацепит, что удобнее, и – вперед! Дочь была отличницей на факультете журналистики, спортсменкой, и даже красавицей – длинные баскетбольные ноги, золотистые волосы и голубые глаза. Правда, всем этим богатством пользоваться не умела, шагала, словно гвозди вколачивала, волосы – в небрежном пучке, на обветренном лице ни капли косметики. Она словно бравировала своей неженственностью. Сенин все понимал – минимализм, стиль юнисекс, но все же сердце тяготело к ухоженным женщинам в нежных платьях, с браслетками на приятно округлых запястьях и милой кокетливостью во взоре.

Дочери было интересно многое: теннисные корты, выставки, театры, походы, плавательные бассейны, концерты. Чтобы понять ее, Сенину самому надо было шагнуть хотя бы на три десятилетия назад, стать молодым, сильным, пружинистым, ощущать тело не противным мешком костей, а сгустком горячей энергии. И печальная радость охватывала его при воспоминаниях о собственной молодости – яркой, безудержной. Да, прошла, но ведь была же… Но как же, черт возьми, быстро прошла, пролетела, промелькнула… И, любуясь исподволь полумальчишеской грацией дочери, испытывал горькую сладость – о, не лети так быстро, жизнь, повремени еще немного!

«Чы-ы-ыс, бырч, чы-ы-ы-с, бырч-бырч!» – проскакали тапки внучек – старшей, восьмилетней Таты, и младшей, четырехлетней Яны. Солидное «чы-ы-ыс» – это Татка, «бырч-бырч» – подскоки Яны. Глядя на них, Сенин думал, что взрослыми они станут только лет через пятнадцать, но в старшей – ах, как уже угадывался строгий холод и воля матери, а в младшей – эх… Одна сплошная улыбка, свет и сердечко нараспашку – вылитый сын! Во время болезни Сенина они прибегали, ластились: «Деда, деда!». Их с трудом выдворяли из кабинета. Сейчас и они привыкли к его постоянному присутствию в доме, порой пробегали мимо него, поглощенные сиюминутными, очень важными своими делами. Девчонки, девчонки, что с вами будет, какими вы будете? Изменитесь ли, обломает ли жизнь вас, или – чем черт не шутит! – может, вы перевернете мир? Кто знает…

«Шш-ш-ш» – еле слышно прошелестело что-то.

– Что, Барон? Встаем?

– Мугу! – утвердительно муркнул кот. За окном разгоралось утро.

«Так все же – кто? Кто из семьи (Барон не в счет), из людей? – Сенин в тысячный раз задавал себе этот вопрос. Кто из семьи оказался близок ему настолько, что вытащил его буквально с того света? Не уходом, не любовью, а манящей душевной близостью? Она – словно мост, по которому можно вытянуть человека из преддверия смерти. Ибо человек уходит, когда ощущает свою ненужность. Так кто же? Жена, сын, дочка, невестка, внучки? И, оценивая всё, с холодной ясностью понимал, что невестка. Она, как ни странно, была больше всех ближе ему душевно. Холод, созерцательность, воля, как натянутая струна – не твои ли это качества, товарищ ефрейтор?! Видимо, Ирина тоже чувствовала родство душ – именно она дольше всех задерживалась около его кровати, с поразительным терпением исполняла капризы

больного. Ловкими, едва заметными, приятно холодившими движениями касаясь лица, брила его, умывала, читала вслух. От услуг сиделок Сенин категорически отказывался, проявляя несвойственный ему эгоизм. Ирине одной удавалось кормить его – еда в первые месяцы была предписана диетическая, противная. Сенин с трудом сдерживался, чтобы не вырвать, жена плакала от отчаяния, сын и дочь уговаривали без толку, и только невестка методично, спокойно, сдержанно преодолевала эту задачу.

Что-то особенное, древнее, скифское проступало в ней, когда она читала ему книги. Четче обрисовывались сухие, острые скулы, спина была натянута как тетива лука, из притемья глазниц вырывался желтый тигриный взгляд.

«Воин, – думал Сенин, невольно любуясь ею. – Ей бы на коне скакать, побеждать тигриной отвагой или змеиным коварством, но властвовать. Недаром сын будто заколдован – с такой и ворожбы не надо, сама – колдовство, богиня!». Только невестке с ее внутренним «Ахтунг!» дано было вызволить его из душевной неопрятности. В нее почти всегда попадает человек, уставший от борьбы с физическим недугом. Но, слава Богу, есть Ирина, змеиноглазая тигрица. С такой не расслабишься: огреет, как хлыстом, беззвучным «Ахтунг!», одернет и вновь поставит в строй. «Годен к службе, товарищ ефрейтор! Жизнь ждет вас!»

«Трак-так-так-так-так!» – шаги жены замерли около кабинета, и она тихонько поскреблась в дверь.

– Одиннадцатый час уже. Все уже разбежались – кто на работу, кто в школу, сад. Вставай, завтракать пора, лекарства принимать.

Сенин вышел из кабинета. Впереди него важно выступал Барон.

– Он опять спал у тебя, – вздохнула жена. – На грудь может перебраться, придавит, потом будешь жаловаться, что сердце не отпускает.

– Пусть спит, – коротко ответил Сенин, – он не мешает.

Жена хотела что-то прибавить, но махнула рукой и пошла в кухню, включила телевизор к началу любимого сериала. С экрана бодро грянули про бродягу, который тащился по диким степям Забайкалья. Заканчивался концерт какого-то народного хора, и звучала последняя песня.

– Мешает? – услужливо спросила жена, едва только он появился на пороге. Умывшийся, розовый после холодной воды, с каплями воды на висках, Сенин чувствовал себя бодрее. – Если мешает, я сделаю тише, сейчас все равно закончится.

– Да ничего, – Сенин вспомнил, что коробка с лекарствами осталась в кабинете, – сейчас вернусь.

Вслед ему пронеслось:

Идти дальше нет уже мочи,
Пред ним расстилался Байкал.

– Ну, слава Богу, кончился концерт, – обрадовалась жена. – Сейчас сериал.

– Я в кабинет лучше пойду, – сказал Сенин. – Не буду мешать.

– Что ты, что ты? – машинально пробормотала жена. Взгляд ее был прикован к начальным титрам на экране.

Сенин подхватил маленький поднос с завтраком, усмехнулся чему-то и прошел в кабинет. Утро уже горело вовсю, и в окно рвалось бездонное, как Байкал,холодное синее небо. Начинался новый день.

О счастье

Дорожите счастьем, дорожите!
Замечайте, радуйтесь, берите
Радуги, рассветы, звезды глаз –
Это все для вас, для вас, для вас.
Услыхали трепетное слово –
Радуйтесь. Не требуйте второго.
Не гоните время. Ни к чему.
Радуйтесь вот этому, ему!

Э.Асадов

– Та-а-ак!!! – зловеще протянул Редактор «Радости для всех». – У нас что на носу?! Что, я вас спрашиваю?!!!

Сотрудники редакции крохотной газетенки испуганно вздрогнули и принялись вглядываться в носы друг друга. Результаты пристального вглядывания были удручающими: на носике милой блондинки Олечки не было ничего, кроме тонального крема и пудры; на картошке, заменяющей нос Антонине Львовне, поблескивали капельки пота; на носу курьера Мишеньки предательски вспух сизо-багровый юношеский прыщ, а из носа самого пожилого сотрудника редакции Аркадия Александровича… Впрочем, не будем об этом.

– Праздник, праздник у нас на носу!!! – завопил Редактор. – 20 марта! Ну, – он победно оглядел выдохнувших сотрудников. – Что за праздник?

– Точно не знаю, – неуверенно протянула Олечка, поправляя золотистый локон. – Кажется, в восточных странах в этот день отмечают праздник весны.

– Точнее, весеннего равноденствия, – заметил приосанившийся Аркадий Александрович.

Редактор побарабанил пальцами по столу.

– Это, конечно, то, да не то. Надо сделать этнографическую рубрику в газете типа «Мы к вам, а вы к нам» и потом писать о любых народных праздниках. Я о другом. 20-е марта – международный День счастья.

– Это надо же! – удивленно протянула тетя Даша.

Это был самый почтенный член редакции, которую все, любя, называли Баушкой и никогда не мешали вздремнуть. Она одна помнила, как было при Сталине, как было после Сталина, и как в магазинах в больших эмалированных лотках продавалась черная и красная зернистая икра, а сыр был «и костромской, и беловежский, и пошехонский, и во-от с тако-ой слезой!». Тетя Даша отвечала в редакции за рубрику научной фантастики.

– Это ж когда такой праздник учредили? Чтой-то я не помню.

– А Бог его знает, – проворчал Редактор. – Но есть!

– Людя́м делать нечего, вот и выдумывают, – отрезала тетя Даша и прикрыла глаза.

– Есть или нет, а тиснуть что-то надо. Иначе какая мы «Радость для всех»?

При слове «тиснуть» Олечка прыснула и порозовела. Редактор вонзился в нее строгим взглядом.

– Вы у нас за историческую хронику отвечаете, Олечка? Так вот, надо найти какие-нибудь исторические факты, так сказать, аргументы, в общем, сказать о том,

что этот праздник был предопределен всем ходом исторического развития человечества.

Олечка смутилась и затеребила верхнюю пуговку на блузке. Блузка была хорошенькая, из розового с зелеными разводами шелка, и сама Олечка была розовенькая и часто-часто дышала. Редактор посмотрел на розовое ушко, полускрытое крутым локоном, потом в окно, в которое уже стучалась яркая, нахальная и непобедимая весна, потом опять на Олечкино ушко и махнул рукой. Олечка взметнула на него благодарный взгляд и села.

– Ну? Кто-нибудь будет тискать о счастье? Или мне опять самому? Вы поймите, у нас газета должна сеять «разумное, доброе, вечное»! Ну, Бог с ним: на вечность не будем претендовать, на разумное – пока обойдемся, а вот доброе – надо! Человек придет с работы, уставший, голодный, на душе кошки скребут, тут ему жена горячий суп с клецками и куриные котлетки. Он ложку проглотит, котлетку съест, тут и кошки перестанут скрестись и мурлыкать начнут. Потом ему духовной пищи захочется. Он нашу газету развернет, потому как на сытый желудок о политике читать – пищеварению не способствует. Вот разворачивает он газету, а там наша статья о нежнейшем счастье. Читателю – хорошо, нам – еще лучше, потому что рейтинг поднимается. Аркадий Александрович, что вы качаете головой?

– А? – встрепенулся Аркадий Александрович. – Я, кажется, ничего.

– Вот именно «ничего»! Вы у нас за спорт отвечаете, а все ваши статьи о спорте на садовых грядках. Как не надорвать спину, выпалывая сорняки!

– Так это, – растерянно мямлил Аркадий Александрович. – А чем не физкультура на свежем воздухе?

Но Редактора уже несло.

– Антонина Львовна, – громыхнул он. – Вы у нас в рубрике «Лики любви и красоты» – вам и писать.

Все подавили облегченный вздох. Больше всего почему-то радовался курьер Мишенька, который вообще ничего не писал.

– И не очень мне тут, – проворчал Редактор для острастки. – Вопрос решен. Антонина Львовна, приступайте. Чтобы завтра статья была готова. Маленькая, но яркая, живая, так, чтобы прочитать и – ах! – звезды в глазах!

Антонина Львовна – необъятная дама 56 лет, никогда не бывшая замужем и не имевшая детей, шагала домой и размышляла: «Легко сказать – написать. А, ладно – не впервой. И без того было ясно, что взвалят на меня».

Она вспомнила о своей одинокой комнатке на четвертом этаже четырехэтажного дома, о сиротливой кастрюльке диетического супа на двухконфорочной плите. Ей стало жаль себя и нестерпимо захотелось сейчас же заесть эту жалость зажаренной куриной ножкой с хрустящим картофелем и россыпью зеленого горошка.

Но она мужественно подавила слюну и жалость и продолжала шагать. Начал накрапывать дождь. Крупные капли отскакивали от жесткого синего плаща Антонины Львовны и словно хихикали над ее неуклюжестью.

«Мы такие легкие, такие счастливые, такие грациозные, – посмеивались они, – а ты такая большая и неповоротливая, и шагаешь, будто сваи вколачиваешь».

Антонина Львовна вошла в дом, вымыла руки и принялась разогревать суп. Тот был анемичный и бледный, с вяло плавающими кусочками цветной капусты и сельдерея, и в услужливом воображении сразу же затанцевали жареная куриная ножка, хрустящий картофель и россыпь зеленого горошка.

Женщина налила суп в тарелку, низко нависла над столом и принялась есть. Было пресно и невкусно, но, вот уж, поистине «тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман». Антонина Львовна давно воевала с лишним весом. В перманентной этой войне не было победителей.

Телевизор что-то бубнил про пользу здорового питания. Антонина Львовна отодвинула тарелку и помрачнела. Она с удовольствием заела бы остатки супа хлебом, но вот уже неделю на хлеб в ее доме был запрет.

Она выключила телевизор, придвинула к себе компьютер и задумчиво посмотрела в окно. За окном косматый дворовый кот деловито лакал воду из лужи.

«Счастье – это любовь, – замерцали на экране первые неуверенные слова, – счастье – это удача, все мы жаждем счастья, как одинокий путник в пустыне жаждет свежей родниковой воды».

«Это хорошо, – удовлетворенно подумала Антонина Львовна. – Правда, путнику в пустыне все равно, какая вода, родниковая или нет, лишь бы была. Но зато красиво получилось!»

«Моменты счастья, словно хрустальные капли этой родниковой воды, освещают нашу жизнь и придают ей неизбывное очарование».

В животе заурчало. Перед мысленным взором женщины, заслоняя экран компьютера, возникла очаровательная куриная ножка, зажаренная до смуглоты, ворох хрустящего картофеля, россыпь горошка и – о, черт! – к ним прибавились свежайшая кудрявая петрушка, молодая редиска со сливочным маслом и хрустальная розетка с любимым острым кетчупом.

Антонина Львовна налила себе жидкого чаю, взяла крохотную конфетку-барбариску и продолжала писать.

«Ощущением счастья наполняют нас переливы весеннего леса, детский смех, набухающие почки на деревьях, первые цветы, первая нежная зелень, покрывающая изумрудным своим ковром истомившуюся и иззябнувшую за зиму землю».

«Иззябнувшую за зиму землю… пять «З» сразу. Да еще и «изумрудный ковер, зелень» – итого семь «З». Перебор, вроде. Но, черт побери, красиво! Так, на чем я остановилась? Набухающие почки…печенка»…

В животе немедленно и зло торкнуло. Тоскливое воображение немедленно нарисовало туго свернутый рулет из печеночного паштета, украшенного укропом и звездочками моркови, с мраморными прожилками масла, поблескивающими на срезе.

Желудок издал унылый и протяжный звук. Антонина Львовна бросила взгляд на идеально пустую тарелку, выпрямилась и с непроницаемым выражением лица вновь застучала по клавиатуре:

«Счастье – это полет и музыка, нежность и мудрость, порыв человеческого духа к великому и апофеоз всего сущего! Счастье – это упоительный бал жизни, это чувство, которое мы вбираем всеми пятью органами чувств: зрением, слухом, обонянием, осязанием и, и…вкусом»

На последнем слове клавиша буквы «м» сделала какой-то неприличный пируэт, весело подмигнула ошалевшей женщине,и тотчас перед ее внутренним оком завертелся невообразимый канкан из букв «в»,«к», «у», «с»! Тут же осатанело заканканировали прелестная смугленькая куриная ножка, соломки картофеля, петрушка. Зеленый горошек выбивал дробь, увальнем топал паштет, редисочка со свежим маслом кружились вокруг островка кетчупа. Через несколько секунд к ним присоединились нежнейшая селедочка, обсыпанная кольцами лука, пышная купчиха

ветчина, элегантный в своей сдержанности голландский сыр, свежепросольные, в палец толщиной, огурцы, спелые помидоры. Вся эта армия вертелась, кружилась, нагло скалила зубы и всячески дразнила Антонину Львовну.

Чуть погодя бешеный канкан сменился более степенным танцем. Завальсировали раскаленный малиновый борщ, сочные котлеты, голубцы и жаренная в сухарях скумбрия. Скумбрия, любимая с детства, жаренная на сливочном масле, сбрызнутая холодным лимонным соком, обложенная черносливом! Скумбрия, зажаренная до цвета умбры! Скум-бри-я!!!

«Счастье – это наслаждение, счастье – это когда нет ничего, кроме всепоглощающей радости: жить, чувствовать, думать, – остервенело выплясывали строчки на компьютере. – Счастье – это вкусная еда, это умение радоваться всему хорошему, что дарит тебе жизнь! Радуйтесь, радуйте других и будьте счастливы, не только в День счастья, но во все остальные дни в году. И пусть никогда не гаснет свет добра в ваших душах».

Антонина Львовна поставила решительную точку, так что заскрипела клавиша, и почти выбежала из дома.

Близлежащий маркет уже закрывался, поэтому продавцы с неудовольствием смотрели на полную высокую женщину, быстро кидающую в корзинку продукты. Последними в полной корзине разместились пластиковые тарелки с жареной курицей и картошкой.

– Что-то еще? – вежливо, но ехидно осведомилась кассирша, пробивая последние свертки

– Да! Шоколад забыла. Дайте, пожалуйста, во-он ту плитку черного с орехами, – кассирша повернулась к стенду с кофе и шоколадом. – Нет, не эту, а рядом, ту, что побольше. Спасибо!

– Вам спасибо за покупку, – пробормотала кассирша.

Антонина Львовна шагала домой и улыбалась. Дождинки уже не звенели по ее плащу, а смирно шелестели, словно им было стыдно, что они такие маленькие и легкие по сравнению с этой большой и уютной женщиной.

«Есть в жизни счастье! – думала Антонина Львовна. В желудке разливалось блаженное тепло, глаза слипались. – Какое же это чудо – вкусная еда!»

– Мря-у-у!!! – ночную тишину прорезал требовательный вопль. На сосне около ее балкона маячил давешний кот. Глаза его сверкали голодным блеском.

– Сейчас накормлю тебя. Иди на балкон.

Кот понимающе муркнул, прыгнул и застыл выжидательно: мол, чего медлишь, женщина, неси, я голоден, как собака!

Антонина Львовна вынесла ему кусочки курицы, ветчины и скумбрии. Тот заглотнул это мгновенно и уставился снова.

– Плохо ты питаешься, как я посмотрю. Кожа да кости.

«Ой плохо, плохо! – муркнул кот. – Со свежим мясом – беда, мышатины вообще нет. Да и вообще, стабильности в мире поубавилось.»

– Мышей не обещаю, но, если хочешь, оставайся. Проживем вдвоем. Только уж извини, я тебя искупаю вначале, ты как черт грязный!

«Да разве я не понимаю? Это уж как водится. Мужика первым делом накормить, искупать да спать уложить надо. А он тебе потом и сказку расскажет, и песенку споет. Только ты учти, я вечно дома сидеть не буду, сама понимаешь – дела всякие».

– Заходи!

***

– Ну, вот и чудненько! – удовлетворенно крякал наутро Редактор. – Я же говорил – сможете. И главное – как живо, ярко,образно, сразу чувствуется – душу вложили в эту статью. Гонорар вам удвоенный полагается. Да и сами выглядите отдохнувшей, веселой, а то в последнее время какая-то угрюмая ходили. Все хорошо?

– Да. Так сами же говорили – День счастья!

– Вот! Всем брать пример с Антонины Львовны. У нас газета как называется? «Радость для всех!» И чтобы я больше ничьих кислых физиономий не видел. От радости – и здоровья, и счастья прибавляется! Понятно?!

– Понятно! – хором отозвались сотрудники.

– Так-то вот! Миша, оставь телефон и сбегай, будь добр, к метро, купи мимозу. Только пушистую выбирай. Чтобы как солнце. Держи деньги.

– Зачем? – не понял Миша.

– Украшать будем редакцию. День счастья же!

Последний луч заходящего солнца

Солнце садится, и ветер утихнул летучий,
Нет и следа тех огнями пронизанных туч;
Вот на окраине дрогнул живой и нежгучий,
Всю эту степь озаривший и гаснущий луч.
Солнца уж нет, нет и дня неустанных стремлений,
Только закат будет долго чуть зримо гореть;
О, если б небо судило без тяжких томлений
Так же и мне, оглянувшись на жизнь, умереть!

Афанасий Фет

Владимир Егорович довольно потирал руки, встряхивал взлохмаченными волосами. Сегодня среда, а значит – снова веселье, радость творческого общения. Наполнится его дом гомоном и шумом, жаркими спорами и оглушительным смехом. Самая талантливая и непоседливая братия соберется вновь у него. Художники – люди от Бога, люди-творцы. Для них организовал Владимир Шмаровин свои знаменитые среды. Сам скромный счетовод, разбогатевший только благодаря удачной женитьбе, он был без памяти влюблен в искусство, собирал редкие образцы фарфора, серебряные чарочки, из которых потом производились обильные возлияния на художественных вечерах, старинные бронзовые и медные серьги.

Двумя дарами украшается душа наша – талантом и чистотою. Ибо прекрасное отражается в чистоте. Не создал Владимир Егорович ни ярких полотен, ни звонких поэтических строк, ни изысканных скульптур, но дом его, обыкновенный одноэтажный московский дом, был пристанищем для многих художников. Кормил, поил, обеспечивал бумагой, холстом, красками, кистями, а то и деньгами. Сколько их, впоследствии знаменитых, обязано было ему, скромному родителю и вдохновителю кружка Художественных сред, скольких он вывел в люди, помог с продажами их полотен. Потом они стали считаться шедеврами. Но тогда о них не знал никто, а их создатели были всегда задиристы и голодноваты. Недаром к 30-летию кружка его завсегдатай, шумный и все примечающий Владимир Гиляровский написал проникновенные строки:

Эх ты, матушка-голубушка «Среда».
Мы состарились, а ты все молода.
Тридцать лет прошло, как будто не бывало,
Тридцать лет тебе сегодня миновало.
Тот же самый разговор живой и смелый,
А родитель твой, хоть малость поседелый,
Да душа его, как прежде, молода,
Эх ты, матушка-голубушка «Среда».

Растревожили сердце Шмаровина эти стихи. Не зря, не зря живет он свой век, он, беззаветно преданный искусству. Вспомнят и о нем добрым словом, да что там вспомнят, уже вспомнили. Да Бог с ней, со славой, главное, чтобы искусство жило, чтобы не переводились талантливые люди.

К каждой среде Шмаровин готовится тщательно. На отдельном столике в гостиной уже заготовлены листы бумаги-«бристоля», на котором всю ночь будут упражняться в своем искусстве художники, кисти, остроочиненные карандаши. К восьми вечера начнут собираться гости. Шуткам, разговорам не будет конца. Ровно в полночь Шмаровин ударит в бубен. О, к ужину Владимир Егорович тоже готовится со знанием дела, специально закупит лучшие продукты на московских рынках: если соленые рыжики, то только самые маленькие, упругие, если моченые яблоки – то как на подбор – гладкие, без червоточинки, пирожки – только филипповские, ветчина, сыр, рыба – свежайшие. Кисти и карандаши сменяются вилками и ложками, появляются закуски и неизменный бочонок пива. Спорят, поют, смеются, хвалятся только что нарисованными шаржами друг на друга. Отличившиеся в эту ночь удачным рисунком или застольным экспромтом пьют из почетного кубка «Орел».

«Утро. Сквозь шторы пробивается свет, – вспоминал Гиляровский. – *Семейные и дамы ушли… Бочонок давно пуст… Из «мертвецкой» (спальня для гостей) слышится храп. Кто-то из художников пишет яркими красками с натуры: стол с неприбранной посудой, пустой «Орел» высится среди опрокинутых рюмок, бочонок с открытым краном и, облокотясь на стол, дремлет дядя Володя*».

Кто только не побывал на «Средах»!

Из художников – С.И.Ягужинский, И.И.Левитан, В.И.Суриков, К.А.Коровин, И.Е.Репин, А.М.Васнецов; из артистов – А.П.Ленский, Ф.И.Шаляпин, В.Ф.Комиссаржевская; из писателей – В.А.Гиляровский, И.А.Бунин, В.Я.Брюсов.

Среди этих имен ярким и нежным светом озарено имя Левитана. Владимир Егорович всегда дорожил дружбой с великим пейзажистом, да и тот никогда не забывал, что именно Шмаровин был первым покупателем его картин. И, словно завет от гениального живописца, его картина «Вечер после дождя» украшает центральную стену шмаровинского дома и напоминает, что прекрасное может таиться не только в солнечных красках юга, но и в мокрых досках деревянного перрона, и в печальных огнях уходящего поезда, и в самом воздухе осеннего вечера.

Вот и сегодня сердце его замирает в предвкушении. Новый гость – как новая книга, неизвестно, что таит в себе.

Художник Михаил Гермашев, которого затем назовут продолжателем левитановских традиций – сегодня гость Шмаровина. Талантливый живописец, чья картина «Снег выпал» получила первую премию Московского художественного общества, и которую Павел Третьяков сразу же приобрел для своей коллекции, был влюблен в природу средней полосы России, особенно в ее зиму, раннюю весну и позднюю осень.

Едва ли найдется еще такой художник, в творчестве которого зима запечатлена во всем богатстве своих красок. Не только сплошной белый, но и лазурный синий, и нежно-розовый, и медово-янтарный. Любит зиму Михаил Маркинович, даром, что родился на юге, в Харьковской области! Но неравнодушно сердце к родным просторам, будь то теплые края или величавое царство холода. И дышит снег на его полотнах – живой, плотный, жемчужный, переливается мерцающим цветом, поет песнь во славу природы и красоты родной земли.

К утру на разрисованном листе бристоля – своеобразном протоколе заседания «Среды» – не будет ни одного свободного уголка. Лист пестрит сценами, подсмотренными в жизни, остроумными шаржами и чудесными пейзажами. Михаил Гермашев вошел в круг единомышленников, чьи суждения о назначении искусства и чье мастерство отличались оригинальностью и талантом. Хозяин дома не скрывает улыбки. Среда удалась на славу!

В 1903 году художники встреч «Среда» устроили выставку-распродажу своих картин. Всю выручку они передали в пользу московских детских приютов. Нераскупленных картин Гермашева на выставке не осталось. А в 1911 году Шмаровин открыл юбилейную выставку, посвященную 25-летию его сред, где выставил около 400 необычных протоколов – бристолей.

– Сила ваша, Михаил Маркианович, – внушал Шмаровин Гермашеву, – в легкости кисти. У иного и глаз приметливый, а кисть тяжелая, словно долбит свое – вот я так вижу, и вы обязаны видеть так же! А у вас на картинах легко дышится. Умеете вы подметить красоту в деревце, склонившемся под тяжестью снега, в дымном солнце морозного дня, в декабрьских красных сумерках. Посмотришь – что ж особенного: все снег, снег, стожок сена и тот снегом припорошен, и белые гуси на белом снегу. А приглядишься – красота дивная, неописуемая. И смотрят на тебя вечерние зимние сумерки в деревне, березки, снегом занесенные, лесные болота и хмурое небо над ними, крестьянские ребятишки ловят рыбу в тихой заводи, угрюмые и одинокие сосны качают вершинами и стонут, лесная избушка ярко горит в ласковых лучах солнца, багровый осенний закат дробится в льдинках реки, а рядом тянутся журавли к югу, плот змеится по реке, околицы оживлены воробьями, церковка белеет вдали, вьется широкая степная дорога, окруженная старым жнивьём или волнами ржи. Сердце радуется этой чистоте, Михаил Маркианович! Прав был покойный Левитан, – Шмаровин судорожно вздохнул, – красота таится везде, надо только увидеть ее, почувствовать душой. От ваших картин душа отогревается, они как отблески на снегу последних лучей уходящего солнца, каждый луч хочется ловить, впитывать, вбирать в себя! Помяните мое слово, у меня глаз наметанный, вы не затеряетесь, ваши картины будут раскупаться!

А ведь как в воду глядел добрейший Владимир Егорович. Все точно предсказал. Только случилось это много позже.

В октябре 1924 года состоялось последнее заседание художников «Среды», а несколькими днями позже Владимир Егорович готовился расстаться с жизнью. Маленький человек с большой и тонко чувствующей душой умирал спокойно и благостно, с чувством выполненного долга. Он знал: все богатство «Среды» – протоколы, альбомы, собрания рисунков и акварелей – в полной сохранности по завещанию попадет в Третьяковскую галерею. Так и случилось.

Судьба же Гермашева сложилась иначе. В 1920 году он покинул Россию и перебрался во Францию. Было ему уже 53 года, и, скорее всего, оставшуюся жизнь предстояло прожить на чужбине.

Париж был наполнен солнцем, иногда дождями, нежными и прозрачными, как вуалетки на женских шляпках. В Париже не было снега. Родного снега…

Спрос на живопись здесь определяли перекупщики. Заказчик Леон Жерар, торговавший картинами на улице Друо, придирчиво рассматривал картины, вздыхая, скупал их по дешевке и перепродавал их впятеро дороже. Денег художнику едва хватало, чтобы приобрести холст и краски. Жерар богател, рос его личный банковский счёт в «Лионском кредите», приобретались особняки в Париже и Ницце, строились виллы в Приморских Альпах и на берегу океана. А Гермашев с друзьями-живописцами бедствовал. Да и французские художники ставили условие: пишите свои «зимы» и «последние лучи», на местные пейзажи не посягайте — это наша вотчина. Понять их было можно: Париж 20-х годов был наводнен художниками до отказа. Многие из них нищенствовали, рисовали на асфальте и попрошайничали. Бульвар Распай и Монпарнас походили на художественные развалы, где картины ценились не выше разноцветного хлама, полотнами художники нередко расплачивались с трактирщиками за чашку кофе и стакан вина. Трактирщики, в свою очередь, с проклятиями выбрасывали холсты на подстилку кошкам и собакам.

У мсье Жерара был поистине коммерческий талант. Он находил покупателей на бесконечные копии «Зим» и «Декабрьских вечеров» Гермашева. Картины уплывали в Англию, Аргентину, Австралию, освещали жемчужным снежным светом далекие страны, а художник перебивался случайными заработками. Только раз, в 1927 году, Гермашев выставил свои лучшие холсты в салоне Национального общества изящных искусств. И сразу высший балл. Его картина «Последние лучи солнца» вызвала бурный восторг. А затем копии собственного детища. Единственный способ заработать на существование.

Шестидясятитрехлетний Гермашев, чьи картины во время его молодости и зрелости обрели свое место в Третьяковской галерее, говорил окружающим:

– Мне часто задают вопрос: куда я иду, как художник, и что я делаю? Вот что я делаю – халтурю: пишу ежемесячно «Последние лучи» и отношу их господину Жерару. Какое ещё движение вперёд, кроме самой низкопробной халтуры, может быть у зарубежного русского художника, если он не хочет умереть голодной смертью?

Михаил Маркианович Гермашев умер во Франции в 1930 году. Имя его практически забыто. Не ошибся любезнейший Владимир Егорович Шмаровин, умевший видеть в людях искру таланта и всеми силами старавшийся не дать ей погаснуть – у картин Гермашева действительно отогревается душа. Просто время наложило свои краски на судьбу художника, сверкнуло последним лучом былой славы и укрыло снежным покровом безмолвия его имя.

И все же… Если доведется тебе, читатель, когда-нибудь в музее или на выставке увидеть в уголке зимнего ли, осеннего ли пейзажа скромную подпись «Гермашевъ», вспомни, что был такой художник Михаил Гермашев, умевший, подобно великому Левитану, видеть красоту в самых простых вещах.

А счастье?.. Бог его знает, в чем оно, и где. Может, в пении иволги ранним утром или в спелых ягодах земляники, в рождественских звездах или звуках вальса из соседнего дома. Может быть, оно в запахах ванили и корицы из кухни, когда пекутся самые вкусные сладости к празднику. Или во встрече с любимыми людьми. А может, оно просто в предвкушении счастья, словно хочешь поймать последний луч заходящего солнца на снегу. И знаешь, что никогда его не поймаешь, и все равно ловишь…

ЦИКЛ «ПИТЕРСКИЕ ЗАРИСОВКИ»

Ангел на пенсии

Машеньке...
Дорогой моей подруге,
дружба с которой
измеряется уже не годами,
а биением сердца.

– Экскурсии… Экскурсии-и-и!!! По Петербургу экскурсии! Кронштадт, Обзорная, Екатерининский дворец! Подходите! – нестройным хором надрывались бабульки с рекламными плакатами в продрогших руках. Издали они походили на оранжевых Дедов Морозов – все, как один, одетые в куртки и штаны апельсинового цвета.

Недолго посовещавшись, мы выбрали одну, наиболее ретивую старушку. Осипшим, но бодрым голосом она выкрикивала маршруты экскурсий. Нам с подругой, выбравшимся в Питер, как выбираются из рутины в счастье, хотелось надышаться им как можно больше. Впрок, надолго, основательно. Ведь счастья никогда не бывает много. Вдохнуть, глотнуть, держать за щекой как фруктово-мятный леденец, чувствуя, как в сердце разливается блаженный холодок радости. Свобода, свобода! Есть ли слово милее тебя?! Мы, как Алиса из кэролловской сказки, готовы были устремиться вслед за неведомым Кроликом в Страну чудес. Декабрьский предновогодний Питер – уже был чудом! Да и сама возможность встречи двух уставших, обремененных заботами и трудностями школьных подруг, живущих так далеко друг от друга, – тоже обещание счастья.

Герой какой-то пьесы яростно восклицал: «Стыдно! Стыдно быть несчастливым!». Мы могли прокричать это вслед за ним, и – клянусь заплатанными плащами всех романтиков мира! – нам согласным хором вторили бы все петербургские памятники, дворцы и мосты, звенело эхом петербургское небо – серо-зеленое днем и антрацитовое ночью, отзывалась черная невская вода. Этот сплошной симфонический унисон словно мантру твердил нам: «Будьте, будьте счастливыми. Хотя бы на две недели».

Выбранная нами старушка деловитым басом принялась перечислять экскурсии. Мы, не сговариваясь, выбрали «Мистический Петербург» и уже в 23.00 сидели в автобусе.

Мистика началась с … темени за окном. Она была не южно-бархатной, падающей мгновенно, а слоистой, надвигающейся осторожно. Автобус будто окутали километрами прозрачной ткани странного черно-серого цвета, который в старину называли аспидным. Силуэты домов и памятников, машины и даже ярко-освещенные мостовые стали воздушными, почти невесомыми. Да и наш автобус словно готов был взмыть над землей.

– Здорово! – в один голос выдохнули мы с подругой. Негромкие голоса других пассажиров сливались в одно бесконечное «гур-гур». Когда актерам на сцене надо изобразить равномерный шум, они произносят негромко «гур-гур», «гур-гур». То же самое было в автобусе, и казалось, что все это: старушки с рекламными плакатами, ночная экскурсия, здание Городской Думы и даже зеленоватая звезда на аспидном небе – части таинственного спектакля, который вот-вот разыграется на наших глазах.

– Ап-п-чхи!!! Ну, нельзя же так! Нельзя! Боже, как я зол, как я зол! Господи, прости мою душу грешную, как я зол, кто бы знал! – этими словами началась вторая часть неведомого спектакля. В автобус влез человек небольшого роста в потрепанном черном пальто. Голова его была непокрыта, и длинные седые волосы свешивались по обеим сторонам лица и лезли в глаза. Очевидно, они должны были изображать вдохновенный беспорядок, но беспорядка было больше, чем вдохновения. Вообще весь облик его был уморителен – он беспрестанно шмыгал носом и тихо ворчал о том, что нельзя так с ним обращаться, что он не мужлан какой-то, а образованный и уважающий себя человек, и не позволит затыкать себе рот, особенно когда речь идет о любимом городе. Манерой речи он напоминал мультяшного домовенка Кузю и слушать его беззлобное ворчание было весело. Многие улыбались, а кто-то даже и посмеивался. Наконец домовенок Кузя завершил свой монолог и, откашлявшись, произнес торжественно:

– Уважаемые дамы и господа, мы начинаем нашу экскурсию по одному из самых прекрасных и мистических городов мира – Санкт-Петербургу. Сейчас мы проедем мимо Инженерного или Михайловского замка. Его приказал выстроить император Павел, и в нем же он был убит. И говорят, – экскурсовод округлил глаза и понизил голос до театрального шепота, – в замке до сих пор бродит тень убиенного императора, вглядывается в окна. Видимо, нет его душе покоя, ах!

Старичок всплеснул руками и горестно потупил седовласую голову. Экскурсанты переглянулись и скрыли улыбку.

– А вот это, – выдержав положенную паузу, продолжил старичок, – один из самых загадочных памятников Петербурга – памятник Петру Первому, поставленный Павлом Первым. На постаменте есть надпись: «Прадеду от правнука». И говорят, что в три часа ночи памятник даже шевелится. Особенно это заметно в лунные ночи. Ах, ах, это незабываемое зрелище! Как жаль, что мы сейчас этого не увидим. А может быть, как знать, как знать, некоторые из вас настолько впечатлительны, что увидят движение памятника. Ах, ах! Прошу, прошу вас.

Надо заметить, что последнюю тираду наш домовенок Кузя даже не произнес, а выпалил единым духом, практически без модуляций. Со стороны действительно могло показаться, что мы участники какой-то мистерии, а главный актер начитывает свои реплики, словно рапорт.

Мы послушно выгрузились из автобуса и вприпрыжку побежали за экскурсоводом. Тот ретиво несся впереди, и полы его пальто раздувались подобно парусам корабля. Вдруг на всех парах он притормозил:

– Вот, – восторженно всхлипнул он, – памятник. Вслушайтесь в эту лаконичную фразу: «Прадеду от правнука». Восхититесь ее силой и мощью! Она не уступает знаменитой екатерининской надписи на Медном Всаднике: «Петру Первому – Екатерина Вторая». И попрошу учесть, – он строго обвел нас взглядом и тряхнул сединами, – екатерининская надпись была сделана на латыни, а эта – русской графикой. И если в екатерининской подчеркивается преемственность правлений, то во второй чувствуется сердечность и тепло. Ах! Насколько ближе и роднее нашей душе «Прадеду от правнука», чем строгое «Первому – Вторая». Ах, Боже мой, Боже мой!

Со стороны могло показаться, что почтительные ученики слушают своего не в меру экзальтированного учителя, а учитель, дабы напустить пущего трепета на учеников, прыгает, всплескивает руками и встряхивает благородными сединами. Антрацитовое небо надвинулось на нас и, кажется, тоже приготовилось слушать.

– Вот, – благоговейно начал он, – основатель нашего города – великий Петр во всей красе. На своем скакуне. Впрочем, говорят, что здесь запечатлена его любимая лошадь Лизетта. Согласитесь, что нашему государю не откажешь в юморе – он назвал персидского жеребца кокетливым женским именем. И если вглядеться, – вновь (в который раз!) старичок заговорщицки понизил голос, – то можно заметить, что левая нога лошади напоминает изящную женскую ножку в туфельке. Хотя, честно говоря (вздох и кокетливый взгляд в сторону!), у меня несколько иные представления о женской ножке. Ах! Когда я ее видел в последний раз?.. Боже мой! В незапамятные времена… (вздох и секундная пауза!). А если потереть подковку сапога Петра Первого, то будет вам счастье. Не верите?! Загадайте желание и потрите подковку – непременно сбудется!

Двадцать шесть человек послушно дотянулись до сапога императора и принялись натирать подковку и без того блестевшую как начищенный самовар.

– А теперь, – скомандовал домовенок Кузя, – обойдем памятник с другой стороны. Вглядитесь в постамент. На нем изображена битва при Гангнуте. Видите сверкающую пяточку одного из утопающих моряков? Кто в очереди за счастьем, удачей, успехом в делах? Быстро потерли пяточку, и все будет замечательно! Честное слово, сколько раз я выплывал из пучины житейского моря и горя, прикоснувшись к этой пяточке. Она всем приносит удачу!

Мы выстроились в очередь на натирание пятки утопающего в пучине. На общем черном фоне памятника пятка сияла нежным золотым светом. Сверкала также и пятая точка моряка. Очевидно, для пущей надежности ее натирали тоже.

– Все натерли?! – деловито осведомился экскурсовод. – Ну, теперь в путь, друзья мои! Нас ждет еще немало чудес. Мы проедем мимо знаменитых сфинксов на Университетской набережной, – непременно загадайте желание и, глядя в глаза сфинксу, потрите голову рядом стоящего грифона, – мимо страшных Кикиных палат – да-да, там это та самая Кунсткамера, в которой хранятся заспиртованные уродцы, мимо… Ах… Ну вот это действительно чудо! Грех не остановиться. Выходим, друзья мои!

Все эти монологи произносились стремительно и почти не переводя дыхания. Старичка, казалось, совершенно не интересовало, слушают ли его, не подсмеиваются ли. Он был весь во власти своей речи, скорее всего, затверженной с годами, но от этого не менее захватывающей и артистичной.

– Посмотрите, посмотрите же, – чуть не умоляюще воскликнул он и, выскочив из автобуса без пальто и шапки, помчался к бело-голубому строению. Мы припустились за ним.

– Смольный Собор! – с придыханием объявил он.

Бело-голубое чудо, тремя куполами устремленное в ночное небо, было прекрасным. Мы замерли, потрясенные.

– Марципановый дворец! – кто-то восхищенно ахнул позади.

Собор и впрямь был сказочным, словно созданным из белого и голубого марципана.

– Не храм, а умиление сердца, – заметила пожилая экскурсантка. – Это надо же – такую красоту создать.

– Вот именно! – радостно подхватил старичок. – Как вы красиво сказали – умиление сердца. Он ведь для Смольного института был выстроен, юные девицы в нем обучались, оттого он такой нежный, изящный, девичий. Зайдемте внутрь.

Внутри было тихо, и тишина эта была не давящей, а легкой и воздушной. Словно юные смешливые ангелы летали вокруг и наполняли пространство счастьем. И так хотелось верить, что счастье это никогда не кончится, что оно навсегда. «Стыдно быть несчастливым», – вспомнилось мне. В этом храме не было места для горя и печали, только радость – давно забытая, чудесная, беззаботная! – переполняла сердце. Мы и забыли про экскурсовода. А он стоял в левом крыле, отчего-то погрустневший и даже сгорбленный. Я тихонько тронула его за рукав.

– Да-да, – очнулся он. – Сейчас поедем. Вы хотели что-то спросить? – лицо его было печальным и уставшим, как у мима, стершего краску с лица после долгого выступления. Белые и синие своды собора бросали тени на его лоб. – Сейчас, – пробормотал он. – Столько раз бываю здесь, и каждый раз дух захватывает от чистоты и красоты. Не хочется уходить, но надо. Сейчас проедем мимо здания Адмиралтейства.

– Где плывет ночной кораблик негасимый из Александровского сада[1], – вспомнилось мне.

– Да, – просто и серьезно согласился он. – Но не о том речь. Боже мой, сколько в нашей жизни прекрасного, и как редко мы замечаем его. Ах! Я ведь только, как вышел на пенсию, стал подрабатывать экскурсоводом и так много открыл для себя!

В нем опять проснулся домовенок Кузя, трогательно взмахивающий руками. К нам стали подтягиваться остальные экскурсанты.

– Друзья мои! – велеречиво провозгласил он. – Простите мне эту маленькую слабость, но здесь, под сводами этого невыразимо чудесного храма, я не могу отказать себе в удовольствии прочитать одно из моих любимых стихотворений. Это совсем не по плану экскурсии, а для души.

Он немного выставил вперед правую ногу и начал тихо:

Говорят, Беатриче была горожанка,
Некрасивая, толстая, злая.
Но упала любовь на сурового Данта,
Как на камень серьга золотая.
Он ее подобрал. И рассматривал долго,
И смотрел, и держал на ладони.
И забрал навсегда. И запел от восторга
О своей некрасивой мадонне.
А она, несмотря на свою неученость,
Вдруг расслышала в кухонном гаме
Тайный зов. И узнала свою обреченность.
И надела набор с жемчугами.
И, свою обреченность почувствовав скромно,
Хорошела, худела, бледнела,
Обрела розоватую матовость, словно
Мертвый жемчуг близ теплого тела.
Он же издали сетовал на безответность
И не знал, озаренный веками,
Каково было ей, обреченной на вечность,
Спорить в лавочках с зеленщиками.
В шумном доме орали драчливые дети,
Слуги бегали, хлопали двери.
Но они были двое. Не нужен был третий
Этой женщине и Алигьери.

[1] Строчка из стихотворения И.Бродского «Рождественский романс».

Последние слова он произнес дрогнувшим голосом. Вновь исчез забавный домовенок Кузя, и выглянул пожилой, очень уставший, ранимый и, скорее всего, одинокий человек. Слушателей было немало – двадцать шесть экскурсантов, бело-синие своды пустого собора, продавщица в церковной лавке и зеленоватая звезда, светившая в окно храма.

– Это счастье, – тихо сказала подруга.

– Да, – подтвердила я. – Это счастье сейчас.

– Чьи это стихи? – услышала я за спиной, когда мы садились в автобус, и хотела было ответить «Самойлова», но вдруг меня остановил чей-то восторженный голос:

– Спасибо вам, спасибо, – давешняя пожилая экскурсантка трясла руку старичка. – А то вот так сидишь: дом-работа, ничего, кроме этого, не видишь, даже на Невском не помню уже, когда была, и жизнь мимо тебя идет. Опомнишься – вроде как жил, а вроде как и нет.

– Спасибо вам, – тихо ответил он, и вдруг снова включил Кузю: – Так вот и я о том же! Красота спасет мир, как верно заметил наш классик – певец белых ночей. И кто же это? – он обернулся к нам.

– Достоевский! – хором ответил автобус.

– Молодцы! – одобрительно воскликнул экскурсовод. – Вперед, о друзья мои! Сейчас проедем мимо Александровского сада, где так «светла Адмиралтейская игла»[1]. Кстати, не забудем поблагодарить нашего замечательного водителя – он всегда так терпеливо ждет меня, когда я останавливаюсь в любимых местах.

Ночной автобус катил мягко, чуть поскрипывая. Экскурсия шла по плану. Старичок так же ахал, всплескивал руками, картинно потуплял глаза, подпирал седую голову рукой и больше ни на минуту не выходил из образа домовенка Кузи. Даже в конце путешествия он распрощался с нами по-старинному церемонно:

– Экскурсия наша близится к завершению, друзья мои! Будьте здоровы и благополучны и никогда не забывайте о том, что в мире всегда есть место счастью. – И, чуть помедлив, добавил: – Надо только помнить о том, что оно почти рядом.

Он вышел из автобуса и вскоре растворился в ночи. Разошлись и мы. Зеленоватая петербургская звезда приветливо мигала над нами, Невский был ярко освещен и украшен к празднику.

– Счастье? – спросила я подругу, толкнув дверь хостела.

– Конечно! – ответила она твердо.

Ну, а что же еще?! Конечно же, это и было настоящим счастьем!

Дом на Пряжке

И тень моя пройдет перед тобою
А.Блок

День обещал быть солнечным. С утра посыпал мелкий снежок, и бронзовый Барклай де Толли, видневшийся за окном нашего хостела, укрылся тонким белым плащом. Впрочем, и тихо падающий снег, и неяркое солнце, и светло-серое небо – оставляли впечатление какой-то деликатности, стеснительной осторожности. В этот день даже ступать хотелось мягко, словно сама земля гасила шаги, и походка становилась неторопливой и задумчивой.

[1] А.С.Пушкин «Медный всадник».

Так же мягко и неторопливо автобус № 22 катил по трассе. Мы приближались к остановке «Английский проспект», откуда рукой было подать до набережной реки Пряжки. Там, в одном из четырехэтажных домов улицы Декабристов, на двери квартиры четвертого этажа была вывеска: «А.А.Блокъ».

Да, мы пришли в гости к Блоку. Именно в гости, потому что дома-музеи всегда оставляют ощущение предельной близости – соприкасаемости с миром великого человека. В домах-музеях есть какая-то интимность, старинная сдержанность. В дома-музеи заходят, настраивая себя на волну общения с его хозяевами. Пусть давно покинувшими свое жилище, но оставившими память о себе в каждой мелочи.

С первых же шагов нас поразила будничность происходящего. Если в Эрмитаж, Русский музей, Строгановский дворец и даже музей-квартиру Пушкина на Мойке,12 мы шли, преисполненные торжественности – как же, вот сейчас увидим прославленный Эрмитаж, Русский музей! – то здесь какой-то «особенности» не было и в помине. Блоки в разные годы снимали квартиры на четвертом и втором этажах дома – именно в них и располагаются экспозиции, а на первом и третьем этажах живут люди. И всякий раз, спускаясь по лестницам с витыми чугунными балясинами перил, они, может быть, и не задумываются, что по ним спускался и поднимался поэт. А может, так и должно быть: надо жить в непосредственной близости от чуда или от величия, тогда и душа облагораживается, становится тоньше и возвышеннее. Может быть… Во всяком случае, в Питере, где каждый камень – история, каждый шаг – вечность, нас не покидали эти мысли.

Длинный, узкий коридор. Затейливый плафон на потолке. Дорожные чемоданы и кофр. Здесь, в квартире № 21, на четвертом этаже поэт прожил восемь лет – с 1912 по 1920 год. Любимое жилище Блока. Его поэт сам выбрал, о нем он восторженно писал в письме к матери: «*…много воздуха и света, и вид из окон – непременно широкий, ничем не загромождённый…Вид из окон меня поразил. Хотя фабрики дымят, но довольно далеко, так что не коптят окон. За эллингами Балтийского завода, которые расширяют теперь для постройки новых дредноутов, виднеются леса около Сергиевского монастыря (по Балтийской дороге). Видно несколько церквей (большая на Гутуевском острове) и мачты, хотя море закрыто домами*».

И квартира на втором этаже за номером 23, куда он вынужден был переселиться после уплотнения, и где скончался в августе 1921 года.

Вот так, с разницей в два этажа, – жизнь и смерть. Любовь: в квартире на четвертом этаже все дышит уютом, опрятностью и степенностью налаженного быта. И неприятие: в квартире на втором этаже, где сейчас литературная экспозиция, – бесприютность. Она была вовсе не в отсутствии милых вещичек, делающих быт обжитым, а в особом воздухе неприкаянности. Кажется, никогда я так отчетливо не понимала смысла словосочетания «гибельная свобода», как в квартире Блока на втором этаже. Пустые, широкие смежные комнаты, коридоры. Свобода – как пустота и гибель. Все же для уюта, а значит, для жизни, нужна определенная замкнутость, теплая очерченность пространства.

Но в квартире на четвертом этаже было все по-другому. В ней чувствовался жилой дух, и запах ванильных булочек, долетавший с третьего этажа, растворялся в стенах. Все было тихо, и казалось, будто комната, принарядившись, ждала хозяев:

Повеселясь на буйном пире,
Вернулся поздно я домой;
Ночь тихо бродит по квартире,
Храня уютный угол мой…

Еще не зная, в какие тона окрашен кабинет поэта, я интуитивно почувствовала: спокойный, оливково-зеленый. Так и оказалось. Старинный диван, обитый оливковой тканью, круглый стол под бархатной оливковой скатертью, ваза в зеленовато-коричневых тонах и стол поэта, обитый зеленым сукном.

«*Высокая, просторная, теплая комната, полумрак, на письменном столе горит лампа, ваза, в ней благоухают цветы. Стол стоит боком к окну, на нем ничего лишнего, чисто, аккуратно, никаких бумаг, перед столом кресло, по другую сторону – второе, вдоль другой стены большой диван, в углу голландская печь, перед нею кресло, дальше по стене шкапы с книгами, дверь в столовую. От всего впечатление строгое, но уютное, теплое*», – так вспоминали о квартире поэта современники.

Письменный стол… Знаковое место в доме любого писателя или поэта. Не случайно, что именно ему, свидетелю таинства творчества, посвящены строки великой современницы Блока – Марины Цветаевой:

Мой письменный верный стол!
Спасибо за то, что шел
Со мною по всем путям.
Меня охранял – как шрам.

Мой письменный вьючный мул!
Спасибо, что ног не гнул
Под ношей, поклажу грез –
Спасибо – что нес и нес.

Письменный стол Блока, наверно, как нельзя лучше соответствовал его поэзии. «*Монотонность до предела музыкальная, выразительная, насыщенная темпераментом. Он доносил до слушателя и мысль стиха, и ритм, и «тайный жар», и образ, но все так благородно, просто, сдержанно*[1].

Стол, за которым работал поэт, принадлежал его бабушке, писательнице и переводчице Елизавете Григорьевне Бекетовой. От нее же и перешел к нему по наследству. Здесь всегда царил «*такой необыкновенный порядок, что какая-нибудь замусоленная, клочковатая рукопись была бы здесь совершенно немыслимой. Позднее я заметил, что все вещи его обихода никогда не располагались вокруг него беспорядочным ворохом, а, казалось, сами собою выстраивались по геометрически правильным линиям*», – вспоминал Корней Чуковский.

Вот еще один из нередких парадоксов жизни. Я давно заметила, что очень спокойные, аккуратные и уравновешенные внешне люди зачастую не являются такими же душевно. Словно внешним спокойствием и даже флегматичностью они хотят компенсировать внутреннюю тревогу и предчувствие хаоса. Есть в океанографии понятие – «мертвая вода». Так говорят, когда корабль вдруг в полнейший штиль не может сдвинуться с места, словно преодолевает страшный шторм. Происходит это потому, что морская вода по плотности своей неоднородна. И вполне возможно, что на поверхности полный штиль, а где-то в глубине бушует шторм. При всей неприменимости к Блоку такого определения, как «мертвый», суть его выражена верно. Современники вспоминали о поэте как о чрезвычайно аккуратном и даже педантичном человеке, а поэзия его тревожна и пронизана ощущением гибельности и печали.

Блок содержал в идеальном порядке свои рукописи и письма, фотографии и открытки. И, пожалуй, самая милая вещь на столе Блока – фарфоровая пепельница в виде таксы.

[1] Н.А.Нолле-Коган. Воспоминания.

«*Печальное, печальное возвращение домой. Маленький белый такс с красными глазками на столе грустит отчаянно*», – так описывал Блок свое возвращение домой после проводов жены Любови Дмитриевны на вокзал в очередную ее поездку.

Еще одной достопримечательностью кабинета Блока был книжный шкаф красного дерева, купленный Любовью Дмитриевной.

Библиотека Блока насчитывала более трех тысяч томов. Корней Чуковский запомнил ее так: «*Преобладали иностранные и старинные книги; старые журналы, выходившие лет двадцать назад, казались у него на полках новехонькими. Теперь мне бросились в глаза Шахматов, Веселовский, Потебня, и я впервые вспомнил, что Блок по своему образованию филолог*». Поэт собирал книги всю жизнь, хождение по букинистам было одним из его любимейших занятий. Библиотека Блока, как и его архив, по завещанию Любови Дмитриевны хранится в Пушкинском доме. На замке книжного шкафа – бронзовая накладка в виде ангелочка с одним крылом. В детстве у Блока в имении его деда был книжный шкаф с такой же накладкой. О нем поэт писал в 1907 году в стихотворении «Под масками»:

А в шкапу дремали книги.
Там – к резной старинной дверце
Прилепился голый мальчик
На одном крыле.

Через несколько лет Любовь Дмитриевна с ее неутомимой целеустремленностью и безошибочным артистическим вкусом отыскала в одном из антикварных магазинов точно такой же шкаф и подарила его супругу.

Знаки любви и внимания… Они порой бывают так незаметны, безмолвны и деликатны, что о них и не вспомнишь сразу. Но именно о них, сжимая сердце, спотыкается потом наша память. Давно нет хозяев уютного дома на Пряжке, а ангелочек на замке по-прежнему ждет их, поджав усталое крыло… И так же внимательно смотрит со стены фоторепродукция «Скорбящей мадонны» Дж.Сальви, приобретенная Блоком в 1902 году за сходство изображения с его женой. Фоторепродукция эта никогда не покидала кабинета поэта.

«Бывают странные сближенья», – пророчески обронил когда-то Пушкин. В доме на Пряжке эта загадочная «странность сближений» окружала нас повсюду. И огромное старинное зеркало в комнате Любови Дмитриевны, казалось, отражало не только рояль, кресло, маленький письменный стол и афишу спектакля, в котором она принимала участие, а ее саму – высокую, порывистую, наделенную тициановской и древнерусской красотой – жену и самую боготворимую музу поэта.

Но сильнее всего чувство «странных сближений» захлестнуло меня при взгляде из окна в кабинете поэта. Казалось, именно об этом участке земли, очерченном каналом, фонарем, зданием аптеки, Блок написал свои знаменитые строки:

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи ещё хоть четверть века –
Всё будет так. Исхода нет.

Умрёшь – начнёшь опять сначала,
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

Нет, ночи не было. Были быстро сгущающиеся сумерки. Но в их синевато-блеклом свете и «ледяная рябь канала, и аптека, и улица, и фонарь» казались призрачными, возникшими из мгновенно приблизившегося прошлого. Даже белая герань в горшке на подоконнике утратила свою суть и приобрела значение символа – маленькие снежные маски на холодном квадрате окна.

Мы ли – пляшущие тени?
Или мы бросаем тень?
Снов, обманов и видений
Догоревший полон день.

Экскурсия наша близилась к концу. Мы прошли по всем четырем комнатам квартиры № 21. И спустились затем на второй этаж, в печальную квартиру №23, в которой скончался поэт. Ощущение тепла, уюта и «странных сближений» сразу же уступили место анфиладе пустых сквозных коридоров.

Черный вечер.
Белый снег.
Ветер, ветер!
На ногах не стоит человек.
Ветер, ветер –
На всем божьем свете!

Неудивительно, что в конце июня 1920 года, уже в квартире № 23, Блок сам сказал о себе: «*Писать стихи забывший Блок…*», а на все вопросы о своём молчании всякий раз отвечал коротко: «*Все звуки прекратились… Разве вы не слышите, что никаких звуков нет?*»

Он, воспринимавший жизнь как музыку, как гармонию или дисгармонию, он, ответивший на недоуменные вопросы современников о поэме «Двенадцать»: «*во время и после окончания «Двенадцати» я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг – шум слитный (вероятно, шум от крушения старого мира). Поэтому те, кто видит в «Двенадцати» политические стихи, или очень слепы к искусству, или сидят по уши в политической грязи, или одержимы большой злобой, – будь они враги или друзья моей поэмы*», в квартире № 23 на втором этаже не написал больше ничего, кроме потрясающей по глубине, горькой статьи «О назначении поэта» к 84-летию со дня смерти Пушкина.

Статья эта, как и стихотворение «Пушкинскому дому», стали, по сути, творческим завещанием Блока и криком его души:

«Покой и воля. Они необходимы поэту для освобождения гармонии. Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю – тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл».

А дальше?..

Дальше было сплошное:

«*Тружусь над протоколами секции...*

...составляем положение секции театров и зрелищ!

...Большое организационное заседание всех секций... Отчаянье, головная боль; я не чиновник, а писатель.

...Бюро. Мое заявление... Трехчасовой фонтан моей энергии, кажется, пробил бюрократическую брешь.

...Заседание бюро и членов Репертуарной секции. Несуразное... Вернулся в 7-м часу, изможденный.

...В отдел – огромная повестка организационного заседания.

...Заседание бюро... Опять чепуха.

...Пятичасовое заседание.

...Заседаю, сцепив зубы.

...Ужас! Неужели я не имею простого права писательского? [Записано поверх перечня дел по Театральному отделу].

Людей не хватало, а такой серьезный, вдумчивый и аккуратный работник, как Блок, был и вовсе нарасхват.

Блок – член коллегии учрежденного М. Горьким издательства «Всемирная литература», председатель дирекции Большого драматического театра, член редакционной коллегии при Петроградском отделе театров и зрелищ, член коллегии Литературного отдела Наркомпроса, член совета Дома искусств, председатель Петроградского отделения Всероссийского союза поэтов, член правления Петроградского отделения Всероссийского союза писателей...

«*День молчания*» – особо отмечает он в записной книжке.

Видимо, это воспринималось им как праздник.

И каждая из этих обязанностей приносит часы заседаний, горы рукописей, на которые Блок аккуратно пишет рецензии, хлопоты за людей, книги, пьесы.

«*Он делал все «по-настоящему*», – писал свидетель его трудов.

– Александр Александрович – это наша совесть, – говорил режиссер Большого Драматического театра Лаврентьев.

Мысли, планы, пометки Блока лежат в основе многих литературных и сценических начинаний тех лет. Как строить репертуар – столичный и самодеятельный, как издавать русскую и мировую классику, писать к ней предисловия, как переводить Гейне, как строить работу Союза поэтов...

Все это было ценно, необходимо, глубоко. Но за всем этим, как шагреневая кожа, съеживалась, уходила жизнь.

Плюс еще неимоверные трудности первых лет революции: затруднения с квартирой, которую «уплотняют», рубка на дрова фамильной мебели, жизнь, наполненная новыми колючими словами: «выдают провизию», «пайка», «паёк», «мерзлая картошка».

Каково ему было, придумавшему милое и домашнее слово «чайнили», когда в гостиной за столом, покрытом камчатной скатертью, не утихал самовар и велись неспешные разговоры о литературе, слышать и принимать все это?...

Давно ушел на рынок актерский гардероб Любови Дмитриевны, потом коллекция ее шалей, потом – драгоценности, наконец, пошли в ход книги.

И самое страшное ... пайковые селедки, ржавые, тошнотворно скользкие, противные. После них трудно было отмыть руки, это мешало ей на сцене и, потроша рыбу, она плакала. И это повторялось изо дня в день, потому что селедка была основным блюдом. Хорошо еще, что она была...

Но все это – и участившиеся ссоры матери и жены, изнуренных новыми, непривычными условиями, и собственную надорванность – Блок прятал от окружающих за своей неизменной пунктуальностью и сдержанностью.

Последняя его фотография от июня 1921 года – фотография уже явно больного человека. Заострившиеся черты лица, бронзовое, будто сожженное лицо, горящие лихорадочным блеском глаза. Болезнь сердца, давшая осложнение на мозг…

Он безмолвно прощался с любимыми книгами. Как-то добрел до трамвая (уже не мог ходить без палки), поехал на Стрельну, простился с морем.

У моря было тихо. Он долго сидел там один.

А вернулся – и слег. Простившись со стихией, олицетворявшей для него свободу, словно простился и с жизнью.

Во время болезни он почти никого не допускал к себе, кроме жены. Резко обострилась его всегдашняя нервность, внезапные перемены настроения, усилились вспышки раздражения.

Летели на пол, вдребезги разбивались о стенку пузырьки с лекарствами. Блока стали вдруг приводить в исступление вещи.

По ночам его мучили кошмары, он боялся ложиться и проводил время в кресле. Сильно задыхался и кричал от болей в сердце.

«...*Сейчас у меня ни души, ни тела нет, я болен, как не был никогда еще; жар не прекращается, и все всегда болит*...» – писал он К. Чуковскому 26 мая 1921 года.

Уговаривали поехать его в какой-нибудь санаторий. В конце концов он согласился на финский, чтобы быть поближе к родине.

Но было уже поздно. В таком состоянии его нельзя было отправлять одного. Надо было ехать и Любови Дмитриевне. Хлопотали о разрешении.

Жена все время была при нем, и по ее состоянию окружающие догадывались о состоянии поэта.

Врачи давно говорили, что Блок не жилец.

Но близкие и любящие люди еще на что-то надеялись.

7 августа 1921 года надеяться стало не на что.

Его похоронили без речей, на Смоленском кладбище, под старым кленом. Ему хотелось, чтобы могила была простой, и чтобы на ней рос клевер.

На похоронах было много людей и много цветов. Цветы и потом на ней не переводились. Впоследствии прах был перенесен на Литераторские мостки Волковского кладбища.

«*Никогда в жизни мне не было так грустно… грустно до самоубийства… Я даже не думал о нем, но я чувствовал боль о нем… Каждый дом – кривой, серый, говорил: «А Блока нету. И не надо Блока. Мне и без Блока отлично. Я и знать не хочу, что за Блок». И чувствовалось, что все эти сволочные дома и в самом деле сожрали его… Как будто с Блоком ушло какое-то очарование… всю эту непередаваемую словами атмосферу Блока я вспомнил – и мне стало страшно, что его нет. В могиле его голос, его почерк, его изумительная чистоплотность, его цветущие волосы, его знание латыни, немецкого языка, его маленькие изящные уши, его привычки, любови, «его декадентство», «его реализм», его морщины – все это под землей, в земле, земля. Самое страшное было то, что с Блоком кончилась литература русская…*». (К.И.Чуковский.)

Кончилась и наша экскурсия. В сиреневых сумерках грустный дом на Пряжке напоминал призрачный корабль прошлого. Мы с подругой молча спускались по каменным ступеням, и шаги наши гулко отдавались в тишине. Дом словно наполнил нас сдержанностью, свойственной его хозяину.

– Всего сорок один год прожил, – сказала подруга. – Так мало…

– Да, – отозвалась я. – Мало живут поэты.

Мелкий снежок, сыпавший с утра, усилился и повалил мокрыми хлопьями. Через несколько минут и река Пряжка, и дом № 57 по улице Декабристов, и желтый свет фонаря укрылись тьмой. Мне вспомнились строки из последнего стихотворения Блока:

Вот зачем, в часы заката
Уходя в ночную тьму,
С белой площади Сената
Тихо кланяюсь ему.

P.S. Все, что имеет отношение к поэзии, действительно наделено мистическими свойствами. Иначе, как мистикой, магией дома Блока не объяснить мне одного любопытного факта.

Одна из моих бакинских знакомых, узнав о том, что я собираюсь в Санкт-Петербург, попросила привезти два сборника литературного альманаха с ее стихами. Альманах был издан в Питере еще в марте 2018 года, но передать ей его не успели. Знакомая сообщила мне номер телефона питерского издателя, но ни адреса, ни его самого лично она не знала.

Я позвонила ему по приезде в Питер, попросила о встрече. Он сказал, что очень занят и перезвонит через неделю. Не дождавшись звонка, я побеспокоила его вновь. Он ответил, что приедет сам к нашему хостелу на Невском и позвонит перед тем, как приехать. До моего отъезда оставалось два дня. В назначенный день он опять не позвонил. Тщетно прождав всю первую половину дня, я решила не беспокоить его больше, а бакинской знакомой ответить, что встреча не состоялась.

В этот же день мы с подругой отправились в дом-музей Блока. И в тот момент, как я стояла у окна в кабинете поэта и смотрела на «улицу, фонарь, аптеку», раздался звонок:

– Алло! – кричал бодрый молодой голос. – Это я, Андрей! Вы в хостеле? Я могу сейчас подъехать на Невский.

– Нет, – ответила я. – Мы ждали вас полдня, но сейчас мы далеко от Невского, на Пряжке. Если можно, давайте завтра встретимся.

– На Пряжке? – воскликнул Андрей. – Где? Я там живу!

– В музее Блока, – ответила я растерянно.

– Я живу в противоположном доме! – еще более радостно крикнули в мобильный. – Спускайтесь, я через минуту буду у музея.

Вот так и состоялась наша встреча с издателем, и заветные экземпляры поэтического альманаха были получены. Мне даже не пришлось накидывать на себя пальто, я просто спустилась по лестнице с четвертого этажа к парадной.

– Ну, как? – поинтересовалась подруга. Я молча показала ей альманахи.

– Спасибо Блоку, – засмеялась она. – Это надо же! Сидели, ждали, отчаялись, поехали далеко от дома – и пожалуйста! Мистика!

– Поэзия! – улыбнулась я. – Просто поэзия!

При написании эссе использованы отрывки из поэтических и прозаических произведений А.Блока, материалы из воспоминаний современников поэта – К.И.Чуковского, С.Алянского и др., а также отрывки из писем и записных книжек А.Блока.

Мистика первого декабря

В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле

Антуан де Сент Экзюпери

– Бр-р, р-р, бур-р, – такие звуки доносились до меня, прорезая белесое питерское утро.

Стены нашего хостела на Невском были тонкими. Слова отскакивали от них, как бусины, и долетали до ушей постояльцев. В первые часы это акустическое излишество озадачивало и даже напрягало, но затем неумолчный гул становился уютным и близким, словно под боком у тебя шумело море.

И море Черное, витийствуя, шумит,\И с тяжким грохотом подходит к изголовью, – вспомнила я, усмехнувшись. Море неясных человеческих голосов действительно «витийствовало», убаюкивало и ткало одно из любимейших моих состояний – близость людского потока, не нарушающего твое собственное пространство.

Был второй день моего пребывания в Санкт-Петербурге. Единственный за все время путешествия холодный день, когда термометр отражал уверенный минус, а воздух звенел и сводил губы.

Подруга еще не приехала, а без нее ходить по музеям и театрам не хотелось. Я придумала себе благородное занятие – наметить маршрут будущих прогулок – и добросовестно мерила Невский по левую и правую руку от хостела. Бодрым шагом пробежавшись по Михайловскому саду, я добралась до Русского музея, справилась о часах работы и повернула обратно. Невдалеке виднелся купол Спаса-на-Крови. Морозный воздух окутал его синеватым облаком. Казалось, что на дома, мостовые, деревья и реку наброшен хрустящий, подкрахмаленный и подсиненный платок. На всем лежал налет неуловимой праздничности и чистоты. Даже бесчисленные вороны и голуби Михайловского сада вышагивали по-особенному степенно, словно хотели сказать: «И куда вы все мчитесь, барышня? Негоже в городе трех революций скакать галопом по Европам – упустите главное».

Стало радостно оттого, что на мне белоснежная маленькая шубка и белый павлопосадский платок с нежным узором, что щеки порозовели от мороза. Было приятно сознавать, что я соответствую чистоте этого утра, что впереди встреча с любимой подругой и целых две недели огромного счастья. Оно было во всем: в отражении желтых фонарей на влажной мостовой, в запахе кофе, летящего из кофеен, в предновогодних гирляндах, в разноцветных павлопосадских платках, полощущихся на ветру, как крылья экзотических бабочек, в редких солнечных лучах, прочерчивающих небо, во всем, чем Бог так щедро скрашивает человеческое одиночество.

Обратная дорога моя лежала мимо базилики Святой Екатерины – католического храма. Он был расположен неподалеку от нашего хостела, и из него нередко доносились звуки органа. Они отражались от тяжелых дверей костела и медленно угасали в воздухе. От этого становилось печально и торжественно. Одолевало сознание того, что счастье неминуемо закончится, но оно не было бы счастьем, если бы не заканчивалось.

Напротив костела местные художники устроили своеобразный небольшой Монпарнас – полотна всех цветов и размеров были представлены глазам пешеходов. Чего только не было на этих полотнах: цветы, виды Питера, женские лица и фигуры, скачущие лошади, собаки и, конечно, знаменитые питерские коты – лежащие, мечтающие,

охотящиеся, спящие, сытые, поджарые, вальяжные, вдохновенные. Коты на мостах, коты около Эрмитажа, коты везде: маленький пушистый символ города – доброта и достоинство в одном сочетании.

У одного из полотен я невольно задержала шаг. Уж больно разухабист был изображенный на нем котяра. Этакий Стенька Разин кошачьего разлива. Художник, очевидно, вложил в напряженное мохнатое тельце и нахальные янтарные глаза все свои мечты о воле. Котяра готов был, того и гляди, спрыгнуть с холста и хриплым голосом завести «Из-за острова на стрежень».

– Интересуетесь? – прервал мои фантазии негромкий голос. – Тысяча двести рублей.

И тут я увидела продавца. Щупленький, неопределенного возраста, он словно отделился от своих картин, для которых служил больше фоном – в невзрачной серой курточке, потертых джинсах, светло-коричневом шарфике. Вообще, по отношению к нему не ложилось на язык ни одно слово без уменьшительно-ласкательных суффиксов. Не то, чтобы он был очень маленьким или умилительным, но во всем его облике сквозила какая-то отстраненность и беззащитность.

Деньги у меня были, но тратить их до приезда подруги я остерегалась. Как-никак, предстояло прожить две недели в очень насыщенной программе. Покупки мы решили отложить на последние дни.

– Нет, спасибо. Как-нибудь в следующий раз. Потом зайду, – попыталась придать я своему голосу правдоподобность. Продавец посмотрел на меня и усмехнулся. Во взгляде ясно читалось: «Следующего раза не будет», но он промолчал.

Дальше началась мистика, объяснить которую не могу до сих пор. Я не могла заставить себя отойти от полотна с залихватским котом. Продавец пристально и цепко смотрел на меня, словно оценивал и принимал решение, а шикарный зверюга с картины все подмигивал мне янтарным глазом. Ни слова не говоря, он вытащил из кучи полотен и бумаг крохотную, в пол-ладони, овальную картину и протянул ее мне.

– Это вам.

На картине была изображена покосившаяся новогодняя елка, с которой уже начали убирать игрушки.

– Прощание с новогодней елкой, – серьезно заметил продавец. – Вам в подарок.

Я могла ожидать всего, что угодно, но только не этого.

– Спасибо огромное, – пролепетала я, – но зачем?

– Все когда-нибудь кончается, – еще более серьезно ответил он. – И этот праздник тоже. А у вас память останется.

– Но сегодня только первое декабря, – обескураженно протянула я. – Еще месяц впереди.

– Он пролетит очень быстро, – сказал он и отвлекся на подошедших покупателей.

Совершенно сбитая с толку, я еще раз пробормотала «спасибо» и тихо зашагала к хостелу. Сумерки – о, эти зимние питерские сумерки, сгущающиеся в четыре часа дня, – быстро окрасили все в лиловый цвет. Неоновые гирлянды на этом фоне казались особенно нарядными. Не хотелось думать, что через месяц всему этому великолепию придет конец.

В хостеле было на удивление тихо. Я принялась разглядывать картину. Комната в коричневых тонах, маленькая зеленая елка, три сиротливые игрушки, забытые на ней. В углу картины вилась надпись очень мелкими буквами «*Со…о…ин*». Третья и

пятая буквы были неразборчивыми, то ли Сорокин, то ли Сологин. Зато на обороте овала было четко выведено: *«Прощание с новогодней елкой»*. Я еще раз повертела картину в руках, сунула ее в кармашек чемодана и через полчаса забыла о ней, поглощенная ужином и разгадыванием кроссворда. До приезда подруги оставался еще один день, на завтра у меня был намечена разведка в сторону Александринского театра, Елисеевского магазина и Апраксина двора. Предвкушение счастья, как пока еще только тень неведомых ликующих слов, клокотало во мне. «Еще один день, а послезавтра – две недели радости, Боже, целых две недели!» – разве можно было думать о грустном в эти минуты?!

К ночи хостел наполнился звуками, и баюкающий гул человеческого моря вкрался в пространство номера. Наконец он сделал свое дело – я погрузилась в сон.

Проснулась в четыре часа. Спать не хотелось. Из окна был виден прожектор на крыше противоположного дома. В его голубоватом свете все стало нереальным, словно целый город каким-то чудом переместился на Венеру. И редкие снежинки, плясавшие в свете прожектора, казались космической пылью.

И вдруг до моего слуха отчетливо донесся одинокий женский голос. Трудно было определить его направление, он пронизывал и окутывал весь номер. Пела женщина средних лет, очень тихо, но ясно:

Синяя крона, малиновый ствол,
звяканье шишек зелёных.
Где-то по комнатам ветер прошёл:
там поздравляли влюблённых.

Даже поверилось где-то на миг
(знать, в простодушье сердечном):
Женщины той очарованный лик
слит с твоим празднеством вечным.

Далекая по природе своей от всяческой мистики, сейчас я просто молчала, потрясенная. Эту песню Окуджавы я услышала впервые по радио ровно 18 лет назад, декабрьским вечером 2000 года. И сейчас, в декабре, ночью 2018 года, я слушала ее во второй раз в маленьком номере хостела на Невском.

Нет бы собраться им – время унять,
нет бы им всем расстараться.
Но начинают колеса стучать:
как тяжело расставаться.
Но начинается вновь суета.
Время по-своему судит.
И в суете тебя сняли с креста,
и воскресенья не будет.

Ель, моя Ель – уходящий олень,
зря ты, наверно, старалась:
Женщины той осторожная тень
в хвое твоей затерялась.
Ель моя, Ель, словно Спас-на-Крови
твой силуэт отдаленный,
Будто бы след удивленной любви,
вспыхнувшей, неутоленной.

Первым моим желанием было постучаться в дверь соседнего номера и спросить постояльцев: «Не вы ли пели только что?». Но, слава Богу, эта шальная мысль покинула меня так же быстро, как и появилась. «Попытаюсь узнать завтра», – подумала я и вскоре уснула вновь.

Назавтра меня ожидало очень позднее пробуждение, бесснежный день и вполне земной городской пейзаж за окном пятого этажа.

Выйдя на кухню, я не увидела никого. Все занятые люди – студенты, спортсмены, родители, приехавшие навестить детей, давно уже разошлись.

Позавтракав, я кинулась в комнатку администратора, благо, она была недалеко.

– Скажите, пожалуйста, кто живет в соседнем номере?

– Семья из Перми. Они съехали сегодня утром. Родители приехали сына навестить, он учится здесь. А что случилось?

– Ничего, – пробормотала я. – Показалось, что знакомую увидела.

Вот, собственно, и все. Мистика первого декабрьского дня 2018 года растворилась в буднях новых суток. Иначе, чем мистикой, это событие не назовешь, потому что больше я не встречала невзрачного продавца картин около костела и уж, конечно, не услышала песни про уходящую Ель.

Но, оглядываясь на это воспоминание сейчас, я медленно сжимаю его в своей памяти, точно так же, как сжимаю в ладони крохотную картину «Прощание с новогодней елкой», и думаю, что жизнь иногда очень мудра в своих подарках. И две недели радости, последовавшие за этим первым мистическим днем, были лишь подтверждением того, что счастье не было бы счастьем, если бы не было так быстротечно и так неуловимо.

Кофелек, кофелек, какой кофелек?!

На то и щука в реке, чтобы карась не дремал...

Кошелек у меня был драный. Вернее сказать, печально-драный. Одно дело – просто истрепанный, и совсем другое – истрепанный до такой степени, что казался безнадежным, печальным и прощающимся с миром.

Моя дорогая семья, провожая меня в путь, настойчиво советовала мне расстаться со старым и приобрести себе новый кошелек. «Настойчиво» – это мягко сказано! «Стыдно, позорно, бомжи бы побрезговали!!!» – под такое недружелюбное воркование я покидала милый дом. Спору нет, кошелек отслужил свое, давно пора было купить новый, но что-то мешало мне расстаться с облезшим дерматиновым другом.

В Питере началась та же история. Но если в Баку увещевания купить новый кошелек звучали в тоне крещендо, то здесь подруга один или два раза обмолвилась о моем портмоне в присущей ей деликатной манере диминуэндо:

– Лямашенька, может, присмотрим тебе новый кошелек?!

И снова я колебалась. Вот хоть убейте, но не могла я расстаться со старым кошельком. Мистика какая-то!

На девятое декабря у нас был запланирован поход в Апраксин двор. Там находился стихийный рынок, попросту говоря, толкучка, где, как нас уверяли, все можно купить по бросовой цене. Но при этом, наверно, только ленивые не предупреждали нас:

– Пойдете на рынок, берегите кошельки!

– Деньги держите при себе, кошельки воруют.

– Следите по сторонам, держите кошельки при себе, режут сумки.

Не знаю, что на меня тогда нашло. Но иногда очень хочется похулиганить! Ну, так: «частица черта в нас заключена подчас!»

Вытащив все ценное из кошелька: документы, деньги, кредитные карты, даже две маленькие фотографии и календарик, я оставила в нем 40 рублей (четыре монеты по 10 рублей) и… на этом не успокоилась. На небольшом листе бумаге написала: «Спасибо, что помогли избавиться от старья. Сама бы не решилась», сложила его и вложила в кошелек. На всякий случай! Деньги же зажала в руке.

День был воскресный, чудесный. Рынок за Апраксиным двором нашли быстро. Кого здесь только не было: узбеки торговали огромными гранатами: каждое зерно – рубин цвета запекшейся крови, дагестанцы разложили на прилавках острую молодую брынзу, женщины из Великого Новгорода торговали медом, колбасами и связками сухих белых грибов – аромат от них был изумительным, а дальше – разноцветные полотнища павловопосадских платков, столы с сувенирами, меховые куртки, елочные игрушки, мишура, гирлянды. Толчея, смех, разговоры – одним словом пестрое божество его величества Рынка. Он везде и всегда одинаков, как его ни называй – рынок, базар, ярмарка – везде огромное, смеющееся, задорное лицо торжища, хитрое и простодушное одновременно.

А вот и наши! Стайка невысоких парней лет 25-27. Узнаю сразу, едва завидев в их руках грушевидные стаканы-армуды́ с чаем.

– Лямашенька, вот хорошие кошельки, может, возьмешь, – указывает мне подруга на прилавок, от которого вкусно пахнет кожей, и где разложены кошельки всех цветов и размеров. Я делаю шаг к прилавку, но, раздумав, поворачиваю назад.

– Успею, Машенька. Сначала надо подарки купить.

Подарки мы выбираем долго и тщательно. Сувениры – кружки с видами Санкт-Петербурга, матрешки, шкатулки, символы наступающего года – забавные поросята и, конечно же, платки – красочные, узорные, яркие. Жаль иногда, что прошлого не вернуть, и не воскреснет художник Малявин, воспевший в своих картинах все буйство ярких красок, и среди них – своего любимого, красного. Вот разгулялась бы его душа, глядя на многоцветье павловопосадских платков!

Нагруженные пакетами, довольные, идем обратно. Маша останавливается около прилавка с дагестанским сыром. Вот чего не найти в рядовых городских супермаркетах – обыкновенной брынзы, к которой мы привыкли с детства. Энное количество твердых и плавленых сыров, но брынзы нет. Есть, правда, на Невском специальный магазин «Брынза» – там всевозможные виды белого сыра, но от хостела туда идти далековато, да и цены кусаются. Пока Маша покупает сыр, я отхожу к огромной тележке. На ней навалена одежда – мужская, женская, детская, всех размеров и цветов и, как говорили нам, – по весьма бросовым ценам. Около тележки толпится народ, и меня словно черт дергает туда подойти.

Не могу сказать, что я не почувствовала, как какой-то щупленький мужичок уж больно ретиво отирается возле меня. Но интуиция, вернее, какая-то мгновенная ее искра подсказывает: «Не дергайся!» Ничего не выбрав, подхожу к подруге. Сыр у нее в руках, все покупки сделаны, можно идти домой. На ходу чувствую, что сумка моя подозрительно полегчала. Опускаю руку и… гляжу на свои пальцы, выглядывающие сбоку. Сумка виртуозно порезана справа, кошелька нет.

– Маша, у меня кошелек увели!

– Как?! – подруга всплескивает руками, ахает. А меня разбирают досада и смех.

Какого черта надо было с утра подступаться к тому самому рожну, на который лезть вообще нельзя?! Как говорится, поиграть хотела, вот и налетела!

– Кошелек украли, – продолжает сокрушаться Машенька. – Что там было?

– Сорок рублей по десятирублевым монетам и записка: «Спасибо, что помогли избавиться от старья», – стараясь быть серьезной, отвечаю я. – Не могу же я вообще оставить человека без денег. Хоть на буханку хлеба хватит.

Маша останавливается, глядит на меня и начинает смеяться. Я подхватываю.

– Лямаша, ты уникум! – заливается она. – Бедный воришка, какой удар по профессионализму! Скажет: «совсем нюх потерял», откроет драный кошелек, а там копейки и благодарственная записка!

– Теперь идем новый кошелек покупать, – подытоживаю я. – Теперь время!

Подходим к давешнему, вкусно пахнущему кожей, прилавку.

– Кошельки, кошельки! – надрывается молодой чернявый продавец. – Подходим, покупаем! Вот хороший кошелек, – услужливо предлагает он нам кожаное, объемистое портмоне темно-вишневого цвета, – недорого, пятьсот рублей!

– Представляете, у человека только что кошелек украли, вот здесь, на рынке! – возмущенно рассказывает ему подруга.

– Вай-вай-вай! – восклицает продавец. – Вай, как не стыдно!

– С Кавказа? – деловито осведомляюсь я, вертя в руке кошелек. В другой руке зажаты деньги!

– Да-а… – озадаченно тянет он. Понимаю его озадаченность, по-русски он говорит без акцента. Но как же филолог не признает родное кавказское «вай»?!

– Откуда? – еще более строго спрашиваю я.

– Азербайджан, – еще больше озадачивается он. – А что такое?

Тут я перехожу на азербайджанский:

– С каких мест родом, брат?

Продавец на секунду застывает на месте, затем расплывается в улыбке:

– Ленкорань! А я еще признал в вас что-то родное, подумал, похожа на восточную женщину. А вы откуда?

– Мы из Баку! Обе!

В самом деле, разве это важно, что родная моя Машенька вот уже почти 30 лет живет в Минске, с тех пор, как вышла замуж. Самое главное, что дружим мы с нею со школьной скамьи, что обе родились и выросли в Баку, и что дружба наша измеряется уже не годами, а биением сердца.

Я протягиваю ему пятьсот рублей. Он возвращает мне двести.

– Возьмите за триста, землячка. На здоровье!

– Лямашенька, – осторожно начинает Маша, когда мы отходим от прилавка, – может, и сумку новую купим? Эта же порезана.

– Нет, пока подожду. Я к этой привыкла, – глажу я своего пострадавшего дерматинового товарища. – Зашью филигранно, будет декоративный шов.

В хостеле раздобылась черной ниткой и иголкой, аккуратно зашила разрез. Ну, что ж, виртуозно порезали, виртуозно и заштопала.

– Хорошо, что ничего не сказали, не дернулись, – сказал мне охранник хостела, у которого я взяла нитку с иглой. – Они ведь заточенной монеткой работают, очень тихо и быстро. Если бы вы что-то сказали или крик подняли, могли бы по одежде

или, что хуже, – по лицу полоснуть. А так, что-то ему досталось, сорок рублей тоже деньги. А у вас зато – новый красивый кошелек.

– И еще одно яркое воспоминание, – добавила я.

– Авантюрное, – улыбнулась Машенька. – Что ж, пощекотать нервы тоже, наверно, иногда надо!

Заканчивался десятый день нашего пребывания в Питере. Впереди было еще пять дней счастья. Немало, если стараешься радоваться каждому мгновению жизни. Ну, или хотя бы находить в нем позитив!

P.S. А новую роскошную сумку мне все же подарили! Дочь сделала такой подарок к Новому году! Так что все, что ни делается...

Розовый кролик

Берегите воспоминания, они сохранят вам память.
М.Генин

Шиллер сказал, что миром правят две силы – любовь и голод. Не буду спорить. Если есть еда, а нет любви, то еда не в радость. Но одна только любовь, да еще в больших порциях, никак не вяжется с недоеданием. В общем, это два сообщающихся сосуда, на совместной деятельности которых построен и пока еще существует мир.

Но во второй день моего пребывания в Питере перспективы на эти две силы были отнюдь не радужными. Любви я новой не искала, а вот голод одолевал все сильнее. Но обо всем по порядку.

Отчего-то наши доблестные стражи порядка не разрешили взять с собой в самолет еду. «Не беда, – решила я, – куплю продукты на месте». И в самом деле, перекусив в самолете и пообедав по приезде в кафе, я была вполне довольна жизнью. Теплый, уютный номер в хостеле, чай с конфеткой, газета с кроссвордом – что еще нужно, чтобы скоротать вечер?..

Ранним утром следующего дня я проснулась свежа и бодра и сразу же решила схватить быка за рога, т.е. совершить продовольственный вояж.

– Володя, – обратилась я к администратору, и голос мой был серьезен и торжественен, – где здесь можно раздобыть продукты, ну, там хлеба, сыра, лапши?

Володя – улыбчивый светловолосый парень двухметрового роста – задумчиво почесал в затылке:

– Вообще-то на Невском продуктовых я не видел, разве что, Елисеевский. Но туда только как в музей сходить. Так полно же кофеен, булочных, столовых, везде можно подкрепиться.

– Это так, – гнула я свою линию, – но мне все же привычнее завтракать дома, а потом уже и в столовой можно пообедать. Да и мало ли – хоть немного хлеба и сыра должно быть на кухне, вдруг захочется перекусить.

– Тогда так, – еще более задумчиво протянул Володя. – Это вы сейчас выйдете из хостела, и по правую руку от вас будет Большая Конюшенная. Идете вдоль нее по правой стороне, никуда не сворачивая. И дойдете до круглосуточного супермаркета «Реал». Там довольно приличные цены и выбор неплохой.

Сказано-сделано! И в восемь часов утра, в субботу, я ретиво отправилась на поиски супермаркета. Большую Конюшенную нашла сразу, благо она была за поворотом от хостела, теперь оставалось дойти до маркета.

Воздух звенел, земля поскрипывала под ногами. Снега не было, но – о, кому ведомо предчувствие зимы, поймут меня! – он был на подходе, еще не рожденные снежинки легко покалывали кожу. Чувство это было волшебным, опьяняющим, словно не ожидание снега, а его предтеча. Невозможная, невероятная легкость бытия!

Пробежав мимо театра эстрады, нескольких церквей и ряда бутиков, я поняла, что заплутала. Вожделенного «Реала» не было и в помине, и, как назло, не было ни души, у кого можно было бы спросить. Я три раза пробежала по Большой Конюшенной – «Реала» нет, хоть тресни!

Может, я что-то не так поняла? Однако возвращаться в хостел не хотелось. «Поищу еще, не мог же он испариться», – решила я и вновь припустилась легкой рысцой. Благо, на голодный желудок бежать легко.

Домчавшись таким образом до Малой Конюшенной, я остановилась в недоумении. Редкие прохожие и слыхом не слыхивали ни о каком «Реале». Я же твердо помнила – держаться надо по правую руку от хостела. Но дальше уже Грибоедовский канал, выход на Большую и Малую Морскую, а там и Дворцовая площадь. Ничего себе – пробежка в поисках «Реала», хотя ему в свете сегодняшнего дня следовало бы называться «Ирреал»!

Можно, конечно, было позавтракать в одной из бесчисленных кофеен, но тут уже мне вожжа под хвост попала – найду продуктовый магазин во что бы то ни стало! В конце концов, мне нужен дома хотя бы хлеб.

Порядком обозленная возвращаюсь на Невский. Уже не бегу, лечу стремительно! Вдруг взгляд падает на неоновую вывеску «Розовый кролик». В мозгу мгновенно вспыхивает цепочка: «Крольчатина – диетический продукт». Скорее всего, это магазин диетических продуктов. Какая разница – пусть будет не сыр, а диетический творог и какой-нибудь низкокалорийный хлеб. Неважно, на завтрак сойдет!»

Не знаю, каким образом мое оголодавшее сознание выдало мне именно такую схему расшифровки названия. О том, что под «Розовым кроликом» может подразумеваться нечто, отличное от диетических продуктов, мне и в голову не пришло.

На всех парах скатываюсь по лестнице в подвальное помещение и чуть не сшибаю с ног колоритного работника. Он поднимается по ступенькам – в майке, джинсах, с каким-то ведром в руках. На открытых участках его тела нет ни единого живого места – все в татуировках. Особенно живописно выглядит татуировка на лбу – почти как фероньерка в уборах 19-го века.

Кажется, он поражен моей стремительностью и даже не обращает внимания на то, что я выбила у него из рук ведро. Я же влетаю в магазин и … – еще не понимание, но предтеча, предтеча понимания!!! – начинаю соображать, что это не совсем магазин продуктов, вернее, вообще не магазин продуктов.

– Простите, – бормочу я и начинаю пятиться назад, – кажется, я не туда попала.

– Мадам, – бархатным басом-кантанте произносит он, – куда же вы? Вот здесь самое интересное!

И уютным жестом доброй хозяйки он гостеприимно распахивает передо мною дверь.

Не знаю, как поделикатнее описать то, что я увидела за нею. На стенах, словно солидные охотничьи трофеи, висели муляжи… В общем, ни дать ни взять – яркая иллюстрация того, что великий А.С.Пушкин так озорно описывал в своей сказке «Про царя Никиту и сорок его дочерей».

– Простите, – выпаливаю я и, во второй раз вышибив ведро из рук обалдевшего работника, бегу стремглав, подальше от этого пикантного места.

Я неслась так стремительно, что моей прыти позавидовал бы сам Великий комбинатор Остап Бендер. А ведь именно он «несся по серебряной улице легко, как ангел, отталкиваясь от грешной земли». Улица при морозе в минус восемь действительно казалась припорошенной серебром, ну, а я в своей белой шубке, возможно, и смахивала на ангела, только очень смущенного и голодного.

Через сорок минут мне наконец удалось обнаружить злополучный «Реал». Большой магазин в подвальном помещении с не очень приметной вывеской. Оказывается, я несколько раз пробежала мимо него и не заметила.

Накупив хлеба, плавленого сыра, лапши и кофе, довольная, уставшая и немного замерзшая возвращаюсь в хостел. Ур-ра!!! Праздник живота, торжество вкуса! Любимый завтрак – кофе с лимоном и сахаром, черный хлеб и сыр – что может быть лучше?!

И вот апофеоз! Сижу в теплой кухне, любуюсь морозным пейзажем за окном, намазываю ломтик душистого черного хлеба плавленым сыром с грибами, делаю глоток огненного кофе и… начинаю хохотать.

– Что с вами? – недоуменно любопытствует Володя. Он как раз вышел из своей администраторской в кухню.

Я машу рукой, делаю знак, что все в порядке. Ну, не буду же смущать мальчика описанием происшествия в «Розовом кролике». Володя озадачен.

– Нашли магазин быстро? Трудностей не было?

Меня сражает новый приступ смеха, но киваю ему, что, мол, да, нашла быстро, а смеюсь, потому что вспомнила какой-то забавный анекдот.

– Я же говорю, – удовлетворенно улыбается Володя, – ничего сложного. По Большой Конюшенной по правой стороне и упираетесь в «Реал». Мы всегда там отовариваемся.

– Там и буду теперь покупать продукты, – улыбаюсь я. – Только там.

Приехавшая через два дня подруга долго смеется над этой историей и потом философски изрекает:

– Бедная голодная девочка! Диетической крольчатинки захотела – и на тебе! Да еще до полусмерти перепугала несчастного работника. Это надо же – два раза ведро вышибла у него из рук!

– Будет тебе, – смеюсь я в ответ. – «Розового кролика» на Невском, 20, запомню надолго.

… Маленькие забавные воспоминания… Они, как снежинки, оседают на площадях нашей памяти. Они берегут ее. Они позволяют нам обращаться к страницам нашей жизни с умилением, с улыбкой – и в этом их ценность и тонкая горьковатая сладость. Словно сладкое пирожное с легким ароматом горького миндаля. Да, прошли, минули, но ведь были же, и подарили крупицу веселья!

Спасибо за то, что были…

ПУТЕШЕСТВИЕ

АГАДДИН БАБАЕВ

МУЗЕЙ, НЕ ИМЕЮЩИЙ АНАЛОГОВ В МИРЕ

Вот уже 25 лет функционирует в Лерикском районе музей долгожителей. Это – очаг культуры, предоставляющий обширную информацию об образе жизни здешних аксакалов и седовласых женщин. Директор музея Диляра Фатуллаева, работник культуры с высшим образованием, стояла у истоков создания музея. Она обошла многие села района, собрала свыше двух тысяч различных экспонатов.

Рассматриваем экспонаты, разместившиеся в первом зале. Привлекают внимание паспорт, выданный в 1937 году на имя Ширали Муслимова, 168 лет прожившего в селе Барзаву. По экспонатам узнаем, что Ш.Муслимов родился 26 марта 1805 года, а умер 2 сентября 1973 года. Более 150 лет он проработал чабаном и ежедневно вышагивал со стадом 10-15 километров. Питался свежим сыром, фруктами, овощами, медом. Пил только родниковую воду, в последние годы жизни – чай из различных растений. Интересно, что в 136 лет Ширали Муслимов в третий раз... женился на 57-летней Хатун и в этом возрасте... стал отцом. У него родилась дочь. Это самый почтенный возраст за всю мировую историю, когда мужчина стал отцом. Ширали не пил спиртного, не курил, не злоупотреблял едой. Он говорил: «Работать надо всегда, праздность рождает лень, лень рождает смерть». Его отец дожил до 110 лет, а мать до 90. Среди экспонатов привлекают внимания шелковая рубашка и фотография с автографом, присланная в 1962 году аксакалу руководителем Вьетнама Хо Ши Мином. Орденская книжка, тросточка, с которой Ширали баба не расставался сто лет. Здесь хранятся как ценные документы так и книги о всемирно известном аксакале, газетные и журнальные статьи и фильмы.

– Житель села Пирасора Махмуд Эйвазов прожил 150 лет, – говорит Диляра ханым еще об одном старце, слава о котором также распространилась на весь мир. – До последних дней он занимался садоводством, систематически купался в родниковой воде, спал под открытым небом. Он был главой семьи в полторы сотни человек. Его трудовой стаж составлял 135 лет. Махмуд-баба считал, что секрет долголетия кроется в пяти условиях жизни: ежедневный труд, закаленное тело, закаленные нервы и хороший характер, правильное питание, горный климат.

В музее хранятся также материалы о встречах Махмуда Эйвазова с московскими и бакинскими школьниками, учеными, деятелями искусств. В дар музею переданы изданные на русском и болгарском языках книги «Ему 150 лет», роман писателя Мамедгусейна Алиева «Сын гор».

Проживший 136 лет Меджид Агаев, ни на один день не отрывавшаяся от родного очага 120-летняя Нани Ахмедова, скончавшийся в 128-летнем возрасте Абдул Гейдаров, живший 125 лет мулла Хасрат Меликов… Документы в музее, экспонаты, отразившие их образ жизни, раскрывают тайну долгожительства и будто говорят: «Виноват тот, кто не прожил сто лет».

Хранящиеся здесь религиозные книги, коврики для совершения намаза, вложенные в стеклянные коробки, свидетельствуют о том, что даже в годы безжалостных репрессий против нашей религии, аксакалы не изменяли своим убеждениям, соблюдали все культовые ритуалы, хранили национальные обычаи и традиции.

Во втором зале музея собраны экспонаты, повествующие о 57 старцах, давно перешагнувших столетний рубеж и ныне проживающих в горных селах. Как образцы народного творчества долгожителей предоставляются посетителями шерстяные джорабы (носки), связанные тройной нитью 117-летней Васи Агаевой из села Зардону, паласы, созданные 107-летней Лалой Азизхановой из села Буруг, кадка и веялка, высверленные из дерева 105-летним Фейрузом Гусейновым из села Зювюч, шерстяная вязаная кофта, связанная 105-летней Нигяр Гусейновой из села Сору.

По инициативе сотрудников музея в селе Пештатюк отмечался 110-летний юбилей Махбубы Фатуллаевой. На церемонии прозвучали приветствия внуков и правнуков седовласой женщины, ее сверстников из соседних населенных пунктов. На сотканных бабушкой Махбубой изысканных коврах были накрыты столы, за которыми гости с удовольствием отведали приготовленные ею блюда, слушая занимательные истории почтенной землячки.

В музее создан фольклорный уголок, где хранятся звуковые и письменные записи преданий, рассказанных долгожителями, и исполняемых ими старинных песен. Здесь же собрана информация об играх, распространенных среди народа. В другом салоне демонстрируются подаренные долгожителями музею старинные косилки и пахотные орудия, сшитые из кожи сандалии и чарыхи, женская и мужская одежда, сундуки и шкатулки, прялки и люльки.

Член объединения национальных фотографов Франции Фредерик Ласор объездил села Лерика, а впоследствии подготовил фотовыставку под названием «Путешествие в край долгожителей». Выставка демонстрировалась в Париже и Баку. Три года назад посол Франции в Азербайджане приехал с супругой в Лерик и подарил музею эту выставку, состоящую их 40 снимков, которые также хранятся в музее.

В музее нам показали книгу, в которой посетители записывают свои впечатления от увиденного. Турист из Литвы Алексей Лотунс пишет: «Это счастье – прожить долгую и содержательную жизнь. После вступления на эту землю уверовал в свою счастливую старость». А вот строки, принадлежащие сотруднику посольства Республики Корея в нашей стране Давиду Шоту: «После приезда в Лерик и мне захотелось прожить 100 лет. Не знаю, хватит ли у меня на это сил. Местные люди проявляли ко мне почтение, я влюбился в их естество». Такие же теплые слова оставили посетившие музей туристы из Голландии, Великобритании, Польши, Германии, Франции. Чувствуется, что пребывание в горном крае доставило им массу впечатлений.

Директор музея Диляра-ханым Фатуллаева сообщила, что число экспонатов в салонах растет и места для них уже не хватает. В этой связи по госзаказу в скором времени будет построено новое современное здание для музея.

Как здорово, что в краю гор – Лерике – есть музей, аналогов которому нет в мире. Каждый день он распахивает свои двери, рассказывая посетителям о почтенных аксакалах этого живописного региона...

ЮРИЙ МАМЕДОВ

ИТАЛЬЯНСКИЕ ЭТЮДЫ

Кто не любит, кто не в восторге от своей Родины?! Итальянцы в особенности: «О белла, белла Италия!» – слышал я часто непроизвольные восклицания в ответ на всплески моих рук куда-то в сторону нестареющих Апеннин, на которых что ни долина – то обязательно украшенная причудливо лепящимися на её склонах деревушками, очень напоминающими наши, кавказские. Часто их облагораживают давно лишенные воинственной торжественности небольшие крепостные сооружения, придающие неповторимый архитектурный колорит узорчатой геометрии. Особенно радует глаз то, что они не только совершенным образом вписываются в окружающий горный ландшафт, но и преобразуют его, порой до невероятной, циклопической двуликости, когда вокруг отжившей свой век небольшой цитадели на вершине безымяной горы постепенно росла, крепла, цвела и разрасталась неказистая деревушка, превратившаяся к настоящему времени в башенный городок – единый природно-архитектурный ансамбль, напоминающий ожившие проекты авангардистских архитекторов середины XX века, мечтавших создавать целые города, растущие на мощном железобетонном стволе... Прибавьте к этому жемчужно-розовые краски, необыкновенно тонкое состояние атмосферы, когда воздух будто насыщен цветным электричеством и напоен светомузыкой, и вы поймете, почему не мог налюбоваться Италией художник Щедрин, подолгу не расставался с нею Гоголь и не хотел возвращаться на родину живописец Иванов, подаривший людям «Явление Христа народу»...

Италия... Не ошибусь, утверждая, что у всех она ассоциируется с шедеврами искусства и с не менее впечатляющими творениями природы – бухтой Поццуоли, например, где так часты колебания уровня моря, как у нас на Каспии, и, конечно же, со знаменитым Везувием…

Везувий спал

Удивительно, несмотря на отнюдь не грандиозные размеры и высоту вулкана по сравнению с прочими огнедышащими гигантами нашей планеты, этот вулкан почти всегда возникает в памяти, когда речь заходит об извержениях. Наверное, потому, что с Везувием связаны не только трагические страницы истории Италии, но и его странная притягательная сила, вызванная соседством с лучезарным Неаполитанским заливом.

Я всё старался разглядеть впереди знакомый по картинкам силуэт Везувия, но увидел его, лишь миновав Неаполь и приблизившись к городу Помпеи.

Помпеи отстают теперь более чем на 1800 м от моря, тогда как до извержения в 79 году н.э. город был приморской гаванью – так изменился рельеф прибрежья в результате подъема земной поверхности и разгула стихийных сил. Слой пепла, похоронивший под собой Помпеи, составлял 3-4 метра толщины (в среднем), а в Геркулануме достигал и 25-ти.

Красивое и в то же время странное зрелище являет собой Везувий. Грозное название его далеко не соответствует натуральным размерам горы, даже на расстоянии нескольких километров поразительно напоминающей очертаниями наш грязевой вулкан Кянизадаг. Но эта иллюзия быстро исчезает по мере приближения к нему, вырастающему

в грандиозную вершину в виде конуса высотой 1277м, с крутыми склонами, совершенно лишёнными в прикупольной части растительного покрова.

– Страда, страда! – все еще звучал в ушах молодой голос.

Нет, чтобы не ослушаться парня, ясно давшего понять, что надо «нырнуть» под магистральное шоссе за чертой Торре-эль-Греко и выехать на «боковушку», прямо ведущую в сторону вершины вулкана... Но что сожалеть, когда я уже высоко на его склоне, заросшем густой растительностью субтропического леса, состоящего преимущественно из знаменитых итальянских пиний (сосен с декоративно-округлой кроной), и только еле слышимая музыка из далеко внизу расположенных отелей напоминает о внешнем мире. Слушая её, я вдруг понял, почему старик на мой вопрос на ломанном французском: «Коман виа монте Везувио?», жестом указал в сторону белеющих среди сочной растительности отелей. Он всё правильно понял, расшифровав мой вопрос как поиск дороги к отдыху и уюту гостиничной жизни, приняв меня, скорее всего, за состоятельного иностранца, которому наскучила машина и потому он решил прокатиться на велосипеде к тенистому подножию знаменитой горы...

Действительно, начиная с отметки «900 м» подножие вулкана поросло труднопроходимым сосновым лесом, постепенно перемежающимся с фруктовыми садами и виноградниками вплоть до самого побережья.

Мечтая спуститься в кратер Везувия и собрать образцы уникальных магматических пород, я не думал ни о каких преградах на пути к нему, а тем более о серьезных препятствиях. И только оказавшись на дикой тропе, то и дело терявшейся в сосновых джунглях, понял, что старый итальянец, совершенно не желая зла, дезориентировал меня, указав на белеющие среди зелени отели. А там дорога обрывалась, и начиналась заповедная зона. Отступать было поздно, а прекрасная асфальтированная дорога к верщине Везувия петляла неизвестно где. Так я оказался в окружении девственного леса на два незабываемых дня...

Продвигаться с тяжело нагруженным велосипедом по уходящей (словно скейт) из-под ног тропе было чрезвычайно трудно. Но я продолжал мысленно благодарить судьбу за столь странное стечение обстоятельств и, счастливый, засыпал под звездным небом у подножия могучего вулкана, где синие гроздья лозы виноградной не раз выманивали меня из палатки, чтобы я при лунном свете мог срезать тугую кисть с живительным соком.

Несколько знакомый с природой возникновения вулканических очагов, я поражался превратностям жизни человеческой. Казалось невероятным, что когда-то здесь разыгрался огненный смерч, и текла лава, сметая всё живое на своём пути.

Это была величайшая трагедия в истории человечества, уступавшая, быть может, по масштабам лишь извержению Санторина и гибели легендарной Атлантиды. Были ли ещё извержения Везувия после 79 года от Р. Х? Их произошло 14, самое мощное из которых в 1631 году. Интересно отметить, что горький опыт ряда катастроф ничему не научил местных жителей, и когда стал слышен подземный гул, а кратер наполнился магмой, они опять же не придали этому значения. И горько поплатились за свою беспечность: лавовые потоки устремились к морю, разрушив по пути Боско, Торре-дель-Греко и другие прелестные городки, погубив более 3000 человек. Близкие к нам по времени извержения происходили в 1631, 1794, 1822,1872, 1906 и 1944 годах, причём лава последнего извержения снесла город Сан-Себастъяно... Ни о каком спуске в кратер не могло быть и речи, хотя он пуст, как дно колодца – ни выходов газа, ни паров воды. Но мне посчастливилось – вдали краснел огонек, и виднелась тёмная струйка дымка на Везувии...

«Мы поднимались частью на ослах, частью пешком. Везувий представлял в то время вид огненной реки, было необыкновенно красиво; некоторые из нас прожгли сапоги, ступая на горячую лаву», – писала Н.А.Тучкова-Огарева в своих «Воспоминаниях», как она с А.И.Герценом и его ближайшими друзьями поднимались на Везувий в 1847 году.

Но дела Природы неисповедимы, и не дай Бог, чтобы Везувий вновь проснулся.

Даже простой осмотр Везувия поставлен на солидную коммерческую основу – надо заплатить 5000 лир, чтобы лицезреть это чудо. А здесь, наверху, у контрольного входа, туристов ожидает несколько сувенирных магазинов и смотровые площадки. В ясную погоду виден даже айсбергом выступающий из морской синевы бирюзовый Капри. На берегу, чуть правее, чем-то напоминающий Баку, Неаполь, дробясь на квадратики домов, лепит мозаику своих замысловатых кварталов...

Вскоре крутой спуск ветром уносит меня вниз, а Везувий вновь начинает уменьшаться до размеров миниатюрного Кянизадага, пока мой путь лежит в недалёкое Эль-Греко, за которым начинаются Помпеи.

Помпеи, Помпеи... Немые сказанья

Помпеи... сегодня это красивый декоративный музей под открытым, безоблачным небом Италии на фоне легкого контура Везувия, будто проплывающего вдали... Колонны, мозаика и великолепные фрески, внутренние дворики (атриумы), мощеные скальным булыжником прямолинейные улицы, толпы праздных туристов и фиалковый купол над всем неаполитанским побережьем. Так было, наверно, и будет всегда...

Но в тот страшный день, 26 августа 79 года, «... землетрясение настолько усилилось, что все, казалось, не только движется, но и становится вверх дном», – писал Плиний-младший, очевидец извержения Везувия в тот роковой день, в послании Тациту... Нет, Помпеи не были стёрты с лица земли – они были похоронены, чтобы воскреснуть, как Феникс из пепла, через много-много столетий. А тогда, в адовом чаду ядовитых испарений Везувия, погиб великий естествоиспытатель Плиний Старший, решивший наблюдать и описать весь процесс этого грандиознейшего явления природы...

Воскрешение началось в 1582 году, когда архитектор Д.Фонтана, проводя канал из реки Сарно в Торре-Аннунциата, впервые наткнулся на погребённые развалины Помпеи, что, впрочем, осталось незамеченным властями. И только в 1748 году случайные находки высокохудожественных бронзовых статуй и других предметов искусства побудили неаполитанского короля Карла III начать раскопки. Так Помпеи стали в буквальном смысле восставать из пепла, постепенно сбрасывая с себя тяжёлый черный саван окаменевшей вулканической пыли. Прошло ещё несколько столетий, прежде чем город не предстал во всей первозданной красе и научно-исторической исключительности, потому что в мире нет аналогов подобным археологическим раскопкам, когда полностью сохранился целый город времён Великой римской империи со всеми его атрибутами быта, хозяйствования, строительных ремёсел, произведений искусства и т.д.

Помпеи поражали воображение не только ученых. Город воспевался художниками кисти и слова. Великий Брюллов создал живописный шедевр, навсегда увековечивший последний день Помпеи. Выполненная в рамках классического искусства картина отражает далеко не реальный эпизод той страшной ночи, но зато передаёт дух трагических событий, которые в одночасье обрушились на цветущий уголок италийской земли. А поэтическое видение В.Брюсова настолько ярко осветило уголки личной жизни людей, населявших Помпеи, что поражаешься силе изображённых им последних всплесков человеческих страстей перед тем, как им погаснуть навсегда...

Его стихотворение «Помпеянка», утверждающее превосходство нетленной жизни над слепой стихией природы так убедительно, что веришь в его достоверность.

Помпеи прекрасны... И первое, что я увидел, ступив на территорию заповедного городка – это одинокая колонна с коринфским ордером, словно пальма на ветру возвышавшаяся недалеко от лестницы, по которой начинался каскад ступеней в сторону этого археологического чуда.

Эта колонна более, чем ее счастливые соплеменницы в окружении ещё не потерявших величие триумфальных арок, парадных зданий с замершими перед ними площадями и стремительными улицами на взлете к подножию Везувия, напоминает мне о счастливом дне, проведенном в городе, куда приходят, чтобы поклониться Красоте...

Здесь нет боев, трибуны не гудят ...

О, Древний Рим!
Огромный саркофаг,
Где время погребло
былую славу!

По. «Колизей»

Сколько лет Риму? Легенда связывает его основание с именами Ромула и Рема. Если это так, то произошло оно во времена, когда в окрестностях знаменитых холмов, на которых покоится столица античного мира, ещё водились волки... Сейчас же во всей Италии вряд ли сыщется хоть один хищник – до того перенаселён, освоен и наполнен событиями этот полуостровной «сапожок», далеко ступивший в Средиземное море. И даже «перешагнувший» его во времена Великой Римской империи, когда ее властители играли судьбами народов Европы, северной Африки и Передней Азии. Вспомним хотя бы XII легион императора Домициана, разводивший бивуачные костра в Гобустане, на берегу Хазара...Рим воистину очень древний город, он будто пропах стариной, ибо сам воздух его наполнен особой атмосферой, в которой возникают и тут же преломляются, подчас обрастая вполне реальными подробностями, образы далёкого прошлого. Покоясь на сакральных холмах своих, Рим будто старается избавиться от непомерного груза окаменевших эпох. Отжившие свой век гигантские постройки рождают в душе странные чувства, заставляя мысль раздумывать над бренностью нашего существования на земле... Но с Колизеем этого не случится никогда...

Я находился в двух шагах от него и не подозревал об этом. Величайшее творение античности символизирует вечный город, как Девичья башня – Баку, а Эйфелева – Париж. Поэтому неудивительно, что Колизей фигурирует почти на всех зарисовках и этюдах Рима, а художники на этом неплохо зарабатывают.

Я остановился и стал рассматривать акварельные наброски в охристых тонах, подчеркивающих дымку вечности, окутывающую этот город и его удивительные творения. Потом попытался спросить у высокого светловолосого художника, как пройти к Колизею, ужасно путая французский вперемежку с редкими словами итальянского языка.

– А вы говорите по-русски? – послышалось в ответ.

Я на мгновение замер от неожиданности...Так я познакомился с Романом. Роман имеет двойное гражданство, что стало явлением довольно обычным за рубежом для выходцев из России. Сам он из Санкт-Петербурга и уже четвертый год живет и работает реставратором в музеях Италии. В свободное время подзарабатывает на пейзажных зарисовках Колизея, не всегда ровно, но постоянно прибыльно, по его признанию. При мне он продал небольшой эскиз молоденькой туристке за 70000 лир и остался доволен сделкой.

Колизей возвышается за Триумфальной аркой Адриана виражами этажей с пустыми глазницами оконных проемов. Мощный, несколько мрачноватый корпус, полуразрушенный временем и стихией людской ненависти (или безразличия?!), гипнотически действуя,

заставляет замедлить шаг. В следующий момент глаз безуспешно старается охватить единым взглядом ускользающие за округлостями объем и пропорции здания, но тщетно. Вы невольно переключаете внимание на красочную толпу туристов перед центральным входом, где необыкновенно броско и экзотично выделяются фланирующие римские воины – довольно удачная имитация легионеров и всадников – в красных туниках и блестящих гривастых шлемах на головах. За определённую мзду они готовы сфотографироваться с вами на память о Вечном Городе.

Через дорогу, напротив, расположились продавцы сувениров, среди которых особенно привлекательными для меня были фигурки африканских животных, вырезанные из эбенового дерева, которые продавали негритянские парни.

Я стал обходить Колизей, ибо войти в него не разрешалось – он был в лесах, и везде чувствовались следы реставрационных работ. Можно было только заглянуть внутрь, где просматривались скамьи амфитеатра, полуразрушенная арена со множеством каких-то глубоких траншей и зарешеченными выходами из подземных тоннелей, по которым когда-то выпускали гладиаторов и зверей на очередной бой.

В 405 году император Гонорий запретил гладиаторские бои, тем не менее, травля зверей продолжалась ещё долго. После нашествия варваров Колизей приходит в упадок, а его камни растаскиваются. И тем не менее он надолго еще сохранил свое величие, пока в XIIв. папа Бенедикт XIV не принял его под свою защиту как историческое сооружение и… место, обагренное кровью христианских мучеников, а потому приказал водрузить посредине арены громадный крест...

Ныне итальянское правительство проводит здесь реставрационные работы всех его внутренних сооружений, по завершении которых, быть может, в Колизее станут устраивать театрализованные представления, имитирующие гладиаторские бои, морские сражения. Ведь Колизей действительно велик и поражает своими размерами. Большая ось его – 187,77м, малая – 155,64 м. Длина арены – 85,75, а ширина – 53,62 м. Стены поднимаются на высоту от 48 до 58 м. Некогда он вмещал в себя 87000 зрителей.

С внешней стороны Колизей представлен тремя ярусами арок, между которыми (средним и верхним) стояло по статуе. На оконечностях осей его эллипса находились четыре главных входа, два из которых предназначались для императора. Зрители же, требовавшие хлеба и зрелищ, поднимались к своим местам по лестницам, которых было 76.

Но:

Здесь нет боев, трибуны не гудят,
Народ не требует ни зрелища, ни хлеба –
Под куполом лазоревого неба
Туристов балуют, кирасами блестя,
Гвардейцы Рима древнего у входа,
Где кровь лилась с восхода до захода.
Пока, под грохоты мечей и колесниц,
На это Феб смотрел сквозь щелочки ресниц.

ТАМАРА ВЕРЕСКУНОВА

В ЧАС ОТЛИВА

* * *

Стану непомнящей, как трава.
Мне б, как траве, забыть:
Оттиски ног, оттиск сапог –
Боли, тоски, обид.

* * *

Вот к сердцу подступает час отлива...
Я не могу назвать себя счастливой:
Жизнь предстает мне
серой, некрасивой,
И даже солнце тусклого отлива...

Но ненадолго смежу я ресницы –
Меня разбудят запахи и звуки:
Начищенные солнечные спицы,
Дорог натруженных большие руки.
О, как цветы колышутся под росами!..
Березы нынче кажутся –
подростками...
О, как лилово раннее светание!
Как радостно и сладостно свидание!
Какой кажусь я в этот миг счастливой!..
То наступает гордый час прилива,
То солнце поднимается с востока...

Нет, не хочу я вечного восторга.
Нужны отливы, муки и сомненья,
Чтоб ослепительнее –
пробужденье.

* * *

Друзья куют деньгу –
вперед!..
Сердца их превратились в камень.
Мне бы оплакать их уход,
А я рыдаю над стихами.

Мне быть в аду, а не в раю –
Так решено за облаками...
Мне бы оплакать жизнь свою,
А я рыдаю вновь – стихами.

Воспоминания о Сахалине

Юной я тогда была и одинокой,
Но мне моя звезда сияла светлооко:
Ночью с высоты
на старый кедр спускалась
И в ведре воды тайно отражалась.

Вновь душистый снег память мне уколет:
Ребятишек смех сыпался по школе.
А вокруг села – лесов таёжных дебри.
Жизнь была не зла,
люди не враждебны.

В небе облака, как на речке льдины…
Потом – разлом, распад…
Жизнь иль смерть – едино…

Маленькая женщина

Маленькая женщина распахнет глаза –
Черные, огромные,
как сердцевинки маков.
Трагедии ее не смог бы предсказать
Даже самый черный из магов.

Муж ее в тюрьме который год уже.
Он не воровал, не убивал, не грабил –
На исходе века «поручика Киже»
Сгребли железные произвола грабли.

Маленькая женщина запахнет глаза…
Дети спят.
Она в боль свою отчалит.
Выплакано всё – не вытечет слеза,
Хлещут по душе ливнями печали.

Осенние мотивы

1

В хмельном зеленом буйстве лета
Мелькнули желтые листы.
И вдруг задумаешься ты:
– Да… Осень бродит рядом где-то.

Как желтая дерев листва,
Оповещает тихо осень:
Твои увядшие слова –
Пророчество разлуки грозной.

2

Падать не решаются
Яблоки зеленые.
Флотилией пылающей
Сыплют листья с кленов –
Жаркие, победные,
Красят неба синь...
Золотые, медные
Пятаки осин.
Под порывом ветра
Листья зябкой ивы
Потоками с деревьев –
Как дождевые сливы.
Над кронами-плащами
Сменяет альт фальцет –
Птицы свой прощальный
Дают гала-концерт.
Ты со мною рядом,
И разлука с нами...
И ничего не надо
Объяснять словами.

Песня

Мы не враги с тобой – пока.
Но ты за память не держись.
Расстанемся, взгрустнем слегка –
И будет продолжаться жизнь.

Расстанемся с тобой, пока
Слова не ядовитые,
Расстанемся, пока сердца
В осколки не разбитые.

Расстанемся, пока жива
Хоть капля уважения...
Не постучалась в кровь пока,
Как пепел, жажда мщения.

*** * ***

...Но есть – земля.
В любви твоей изверясь,
Я не закрою душу на засов:
И птице поклонюсь в пути,
и зверю,
И пламени зеленому лесов.

Попытка шутки

Если б злые духи
Вылезли из штолен,
Или Змей Горыныч
Объявился, что ли –
Духов усмирила бы
Сказкой
длинной-длинною,
Жизнь твою спасая,
Влезла б в пасть змеиную...

Только нету Змея,
И злых духов –
нету.
Надо мною реет
Солнечное лето.
Лишь тревожный, душный,
Одинокий вечер...
И любовь немую
Доказать мне нечем.

Посткриптум

...А что в свое время не рассмотрелось,
Не понялось и не вразумилось –
Расшифровала разумная зрелость:
На всё Божья воля
и Божия милость.

Григорий (Геня) Щирин – коренной бакинец, писатель, кандидат технических наук, изобретатель, один из организаторов первых бакинских команд КВН. Ныне живёт в городе Сан Хосе, Калифорния. Известный бард Александр Городницкий назвал его «американцем с бакинским акцентом».

ГЕНЯ ЩИРИН

Творческая биография с «уклоном на Баку и КВН»

Именно так попросил меня написать Марат Шафиев, мой добрый бакинский знакомый. Вначале я смутился, не зная, что это за уклон, и что мне за это будет – неужели опять за уклонистов взялись, но быстро понял, что иной биографии у меня, собственно, и не было никогда. Впрочем, есть другая: инженерно-техническая, включающая институт, аспирантуру, кандидатскую, работу в крупнейших американских компаниях, но и она не без «уклона на Баку и КВН».

Читать и писать я научился рано, и первой писательско-редакторской работой стал еженедельный листок стенгазеты нашего 5-го А класса 160-й школы. Внизу гордо стояло: редактор – Геня Щирин, художник – Женя Ветров. Общественно-политические взгляды моих статей и Жениных рисунков мало отличались от всех других. Мне очень хотелось сделать что-то другое, ну, хотя бы вырезать наш листок в форме круга, в отличие от всех стандартно-прямоугольных. Но Женя Ветров мое инакомыслие категорически отверг и сумел отстоять консервативную позицию нашего органа.

К тому времени в нашей исторически мужской школе уже появились девочки, и в моей литературной деятельности явно образовался период застоя, ограниченный эпистолярным жанром любовных записочек. Творческая же моя энергия перелилась в школьный драмкружок, в котором мне довелось сыграть молодого Ульянова. Об этом – в рассказе «Черные туфли для Ленина». Я с благодарностью вспоминаю все, что мне дал наш школьный драмкружок: умение держаться на сцене, понимать и чувствовать слово и звук. Там я впервые встретился и надолго познакомился с Юликом Гусманом, тоже активным драмкружковцем нашей 160-й, хотя он был чуть старше.

Ну, а с первых курсов института началась эпидемия КВН. Телевидение, прямые трансляции, «перерывы по техническим причинам», шутки, шепотки – «а вы поняли, что он имел в виду?» Проводились внутри- и межфакультетские соревнования. Почему-то все тексты писались исключительно (стихами это не назовешь) в рифму. Наш АзИНефтехим был лидером среди зарождавшегося общегородского движения. Тут надо отметить. что мы с Юликом долго уговаривали друг друга. Он тянул меня и моих институтских друзей к нему в оперативный отряд ЦК комсомола, а я его, Мишу и их друзей-оперативников – в КВН. По-моему, мы оба до сих пор довольны правильным решением. Каким?

Круг внутригородских соревнований, финал первенства Баку «АзИНефтехим – СКБ Нефтехимприбор». И вот она, уже ставшая легендарной, команда «Парни из Баку». После первой победы в сезоне КВН-67/68 я поступил в аспирантуру и занялся диссертацией. Работа над научными статьями тоже внесла свой вклад в «писательский стиль». Помню, как мой научный руководитель Давид Исаакович Вигдоров зачеркивал длинные хвосты моих предложений, приговаривая: «Геня, сколько раз я вам говорил – пишите короче, вы не Лев Толстой».

Но похоже, что вирус КВН, вызывающий неизлечимый зуд к творчеству, крепко засел в моем организме. К тому же в стране появился большой спрос на юмор. В начале 70-х Юлик вместе с Ярославом Головановым и Юрой Ростом организовали в «Комсомольской правде» страничку КВН, в составе сборной которой (читай, одним из основных авторов) был и ваш покорный слуга.

Вместе с Юликом и мы с Ромой Газом вошли в состав постоянных авторов ТеМБРа (Театр Миниатюр Бакинского Рабочего). Туда нас пригласил начальник отдела сатиры и фельетонов Саша Эберлин. Я с гордостью носил в кармане красную книжечку удостоверения внештатного корреспондента печатного органа ЦК КП Азербайджана. Иногда книжечка активно помогала в дискуссиях с работниками ГАИ.

И пошло-поехало. Мы писали слова песен для ансамбля ГАЯ, тексты для спектаклей, один мой рассказ напечатала «Литературная газета». Но одновременно я умудрялся продолжать научную работу в АзИНефтехиме, защитил диссертацию и стал одним из соискателей Госпремии Азербайджана по науке и технике вместе с нашим ректором Исмаилом Алиевичем Ибрагимовым. Про него мой рассказ «Если бы Сталин любил КВН».

Красное удостоверение пришлось сдать Эберлину перед отъездом в Америку, а через год он сдал и свое. Мы снова встретились, уже в Нью-Йорке, где Саша до сих пор редактирует газету «Нью-Йорк – Нью-Йорк».

В Америке мое писательское «творчество» началось с сочинения резюме и заявлений о приеме на работу, но на другом языке – английском. Понадобилось года два, чтобы по-настоящему вернуться к инженерной деятельности, еще лет пять, чтобы встать на ноги, переехать в Силиконовую долину, купить дом.

И снова рецидив старого вируса. В то время в Калифорнии начали выпускать (хватило на 2 года) глянцевый журнал «На Здоровье!» – универсального типа: мол, читайте на здоровье, готовьте на здоровье, отдыхайте на здоровье и т.п. Стал вести там страничку юмора. Оттуда рассказ «Brita».

А когда я повзрослел настолько, что перестал работать, как инженер, в полную силу, то взялся за писательское творчество всерьез. Так получилась первая книжка «Прогулки с курицей», потом вторая – «Лунная радуга», а сейчас и третья – «Прогулки с курицей и без».

Надо сказать, что многие из моих историй – по сути, устные рассказы. А вдохновил меня на издание первой книжки этих рассказов Александр Моисеевич Городницкий, которому очень нравилось их слушать, он даже предложил название – «Американец с бакинским акцентом». Ведь вирус КВН, как известно, неизлечим. Так я начал делать презентации в форме авторских концертов. Мои выступления успешно прошли в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Хайфе…

А теперь – с трепетом, спустя 30 лет, собираюсь в Баку.

Проверим, действительно ли остался акцент.

Открытки моего дедушки

Одним из увлечений моего детства было собирание почтовых марок. Во-первых, модно, во-вторых – это было, пожалуй, единственным ненаказуемым способом прикоснуться к чему-то, напечатанному за границей. Интересно сравнить давно не слышанное русское «за границей, за рубежом» с американским abroad – широкое пространство.

Так вот, узнав о моих филателистических увлечениях, бабушка Женя предложила мне снять с какой-то старой открытки американскую марку. Этих открыток у бабушки оказалось много – так у меня в обменном фонде появились марки с портретом Джорджа Вашингтона стоимостью в 2 цента. Тогда я и узнал, что эти открытки мой дедушка посылал моей бабушке и моему семилетнему папе в 1924 году во время своей 145-дневной командировки в Америку. Бабушка уверяла, что он посылал ей по открытке в день, но мне кажется, что она преувеличивала. Время шло, ушла бабушка, и с ней ушли навсегда буфет, ломберный столик, 40 томов энциклопедии Брокгауза и Ефрона и главное – память об этой поездке, но осталась пара серебряных ложек и 92 цветные открытки, которые удивительным образом вместе со мной вернулись обратно в Америку. О них я и хочу рассказать.

На скромной могиле моего дедушки Гриши в Баку стоит гордое: «инженер-механик». По-видимому, инженеров, получивших два высших образования, в начале прошлого века было немного. У меня есть фото 1926 года: шофер везет дедушку на работу на государственном автомобиле.

Как дедушка попал в Америку, я выяснил совсем недавно. Хотя Америка признала Советскую Россию только в 1933 году, но нефть есть нефть, и сотрудничество между американскими и советскими нефтяниками началось намного раньше. История российской нефти, а начиналась она с бакинской, очень познавательна. Могу порекомендовать книгу «Oil of Russia», написанную выдающимся бакинцем Вагитом Алекперовым, миллиардером, одним из десяти богатейших людей России, президентом и совладельцем компании «ЛукОйл». Там есть немало интересных фактов и историй, и мне тоже придется сделать небольшой экскурс в историю, прежде чем мы вернемся к открыткам.

Нефть, вместе с прочими природными ресурсами, была национализирована декретом Ленина в 1918 году. Сразу же после установления советской власти в Азербайджане в 1920 году Ленин поставил во главе объединения «Азнефть» Александра Павловича Серебровского, профессионального революционера, члена РСДРП с 1903 года. Это был человек талантливый – и как инженер-механик (в 1908 году, находясь в эмиграции в Бельгии, он окончил техническое училище), и как руководитель-антрепренер. Нефтяные дела на бакинских промыслах и в целом на Кавказе стали налаживаться. Увеличилась добыча нефти и производство нефтепродуктов, в 1921 году восстановили керосинопровод Баку-Батуми. Компания Royal Dutch Shell начала покупать бакинский керосин и продавать его на Дальний Восток. Введенная в те годы новая экономическая политика (НЭП) стала приносить первые плоды. Была создана советско-американская компания Амторг. Тут и расцвел в полную силу талант Серебровского. В июле 1924 года он высадился в Нью-Йорке, встретился с руководителями Standard Oil и даже получил приглашение к Джону Рокфеллеру на обед. Ему удалось расположить к себе нефтяного короля Америки. В своих воспоминаниях один из сотрудников Рокфеллера писал, что его магнат обратил внимание на нефтяное пятно на ботинке директора «Азнефти». Был подписан ряд соглашений, получены соответствующие гарантии и займы, и Серебровский вызвал в Америку небольшую группу специалистов из Баку. В их числе оказался и мой дед, с которым Серебровский дружил.

А теперь вернемся к открыткам. Все открытки начинались словами: «Дорогие Женечка и Вовик!» и кончались фразой: «Целую крепко, Гриша». Буду эти фразы для краткости опускать. Вот первая: Лондон, 12 сент. 1924 года. «Ждем виз. 24-го –

пароход в Америку. Связались с Серебровским, надо будет ехать прямо в Тулзу, Оклахома». В Тулзе, начиная с 1923 года, регулярно проводилась International Petroleum Exposition; в 1924 там впервые была представлена «Азнефть». Потом Серебровский с командой, как гости Standard Oil, проехали почти по всем промыслам и нефтеперерабатывающим заводам Америки по маршруту: Оклахома – Луизиана – Калифорния (Лос-Анджелес и Лонг-Бич) – Вайоминг – Чикаго – Питтсбург – Нью-Йорк.

Дедушка действительно посылал открытки из каждого города, иногда и по две-три. Помню, как я смотрел на них мальчишкой, когда все эти названия городов мало что значили для меня, и самым вожделенным было отмочить и отклеить двухцентовую американскую марку. Теперь-то я уже стал вчитываться в текст и сравнивать панорамы сегодняшние, особенно виденные мной вживую, с фотографиями 90-летней давности. Вот открытка: корабль, на котором дед плыл в Америку из Лондона и обратно – «Олимпик». Как выяснилось, их было три – похожих, как близнецы, лайнера, построенных в начале 20 века: «Олимпик», «Британик» и «Титаник». Про «Титаник» знают все, «Британик» подорвался на немецкой мине в 1916 и тоже затонул, а «Олимпик» проплавал аж до старости, до 1934-го. Или открытка из Чикаго: знаменитая чикагская Water Tower – одно из немногих зданий в городе, оставшихся после грандиозного пожара 1871 года. А рядом – фото сегодняшнего дня. Удивительно, что мало изменился один из моих любимых районов Нью-Йорка – Little Italy. Вот Mott Street 90 лет назад и сегодня. Интересна и обратная сторона открытки: «Вчера был в опере, слушал концерт Шаляпина. Хотя он немного потерял голос, но величествен по-прежнему». Уникальный вид на знаменитый нью-йоркский Woodworth Building, неоготический небоскреб, построенный в 1913 году – самое высокое в то время здание в мире. Рядом с ним в 1973 году выросли знаменитые башни-близнецы, исчезнувшие после ужаса 11 сентября 2001 года. Кстати, в Woodworth Building в прошлом году было продано самое дорогое condo в истории Америки – 100 млн. долларов! Есть и несколько открыток из ставшей теперь такой родной Калифорнии. Из Long Beach: «Здесь так хорошо и красиво... чувствую себя на 30 лет моложе».

В середине февраля 1925 года вся команда вернулась в Баку. Я еще застал кое-какие вещи, привезенные дедушкой. Даже спустя 30 лет они вызывали удивление и восхищение. Но главным результатом этой поездки была полная модернизация нефтяной промышленности на Кавказе. Появились металлические вышки, первые электроприводные станки-качалки, заменившие примитивные черпалки, сократились затраты, увеличилась добыча нефти, которая с 1928 года стала основным продуктом советского экспорта, обойдя традиционную пшеницу. В Баку появились поселки, дома и коттеджи для нефтяников, построенные по типу американских; тогда же при «Азнефти» была создана футбольная команда, впоследствии знаменитый «Нефтчи». «Красный Рокфеллер», как называли Серебровского, внедрял не только технологии, но и, по возможности, американский стиль менеджмента. Но в Союзе инициатива была всегда наказуема. В трагическом 37-м Серебровского арестовали и в 38-м расстреляли как врага народа. Дедушке «повезло» – он умер в 32-м.

Некоторые послания в открытках дедушка писал для моего маленького папы печатными буквами. Вот одна из них: «Дорогой Вовик, учись хорошо. Если будешь хорошо учиться, то ты тоже, когда вырастешь, поедешь в Америку. Целую крепко. Папа». По иронии судьбы так и случилось. Удивительно и то, что Вагит Алекперов родился в Баку, в поселке Разина, первый кирпич в строительство которого заложил после возвращения из Америки А.П.Серебровский.

Розовая чача

Эта история, в отличие от других, будет довольно длинной, поскольку состоит из нескольких мини-историй. А начать я хочу с события, имевшего место за несколько лет до того, как мы собрались ехать в Америку. В то «застойное» время об отъезде мы и не думали.

Обычная командировка в Москву с очередным отчётом, но самолет, который должен был вылетать вечером, задержали по какой-то причине до утра. Возвращаться домой не имело смысла, тем более, что я встретил давнего знакомого, который летел тем же рейсом. Он был со своим приятелем, и мы решили скоротать ночь за дружеской беседой втроём. И что самое приятное, у этого третьего, его звали Мурад, оказалась литровая бутылка чачи – самогона – из розы. В Баку и вообще на Кавказе популярно варенье из розы, а вот самогон из розы пришлось попробовать впервые. То есть, что значит – попробовать: к утру мы просто выпили весь этот литр, закусывая небольшим бутербродом, который предусмотрительная Женя дала мне с собой.

В процессе задушевного разговора я узнал, что Мурад, переводчик-арабист, подписал двухлетний контракт на работу в Афганистане, а теперь летит в Москву откупиться: сил больше нет никаких, хотя осталось всего шесть месяцев. Врезалось в память его упоминание о самом безопасном месте в доме – под окном. Ни нож, ни пуля не страшны. (Возможно, этот совет пригодится американским солдатам и сегодня). Утром мы влезли в самолёт уже очень близкими друзьями.

Это приключение имело два последствия: одно, как говорится, short term, другое – long term. В результате первого (прошу прощения за физиологические подробности) всё, что выделял мой организм в последующие четыре дня, непривычно, а потому жутковато, пахло розой. Причём, если вначале был резкий запах эссенции, то потом – чистое благоухание. О втором последствии – чуть позже.

Начались события 1988-89-х годов, и я твёрдо решил свалить. Женя готова была ехать хоть завтра, а вот мои родители колебались. Мама – ведущий хирург-онколог, папа тоже работал. И когда я пришел к ним на последний «едете или не едете» разговор, мама заявила: «Мы едем, но три условия. Мы должны взять с собой бабушкин браслет (был такой у мамы, из платины, с красивой жемчужиной – сейчас он у старшей дочки Софы в Лос-Анджелесе), ручную швейную машинку «Кайзер», купленную другой бабушкой в 1914 году (машинка там же, где и браслет), и дедушкино любимое кресло (ценности не имеет, но, сидя именно в нём, я пишу эти строчки). «Хорошо, – сказал я, – обещаю». Сказал, не имея ни малейшего понятия, как это сделать. Тогда важнее всего было получить согласие родителей.

Не знаю, как сейчас, но в те годы можно было отправлять контейнеры с багажом прямиком из Баку в Америку. Ехали в неизвестное и брали всё, что можно. Большая часть того, что привозили, никому и никогда в Америке не пригодилась. Мы как-то устроили эмигрантский вечер воспоминаний «20 лет спустя»: конкурс на самую ненужную вещь, которую привезли в Америку и ни разу ею не воспользовались. Первый приз получила известный зубной врач за огромный моток резинки для трусов. Сейчас смешно, а тогда на мне висела казавшаяся очень важной задача: достать контейнеры, организовать их погрузку, таможню и отправку. Отправку всего – включая браслет, швейную машинку и дедушкино кресло.

Магазинов, где продавались контейнеры, не существовало, и я поехал к моему

другу Кямалу Алышеву, директору радиозавода. Кямал – один из первых, кому я сказал об отъезде. Он был искренне рад за меня. «Чем могу помочь?» – спросил он. «Контейнеры надо бы…», – робко начал я. Кямал тут же снял с полки увесистый каталог. Завод выпускал здоровенные терминалы для ЭВМ, и перед отправкой их упаковывали в контейнеры. Они были очень большие, пожалуй, два дивана влезли бы без труда. «Такой подойдёт?» – спросил Кямал. «То, что надо!» «Сколько сделать?» На всякий случай я сказал: «Три». И стал свидетелем второй мини-истории.

Дзынь! Входит секретарша. «Начальника столярного цеха ко мне, срочно!» Через считанные минуты в дверях кабинета в глубоком поклоне появился начальник цеха. «Иди сюда, Мамедов. Ты такой контейнер можешь сделать? Три штуки. Срочно!» «Конечно, Кямал Рамазанович, для вас – всё, что скажете». «Не для меня, для него (*показывает на меня*). Эти контейнеры, Мамедов, поедут в Америку! Понимаешь? Впервые – сделанное на нашем заводе будет в Америке! Учти это, Мамедов, и запомни: когда будет готово, я приду и проведу рукой по дереву. Вот так. Видишь? И если мне попадёт хоть одна заноза, Мамедов, клянусь, я тебя лично в этом ящике похороню! Понял? Иди!»

Всё было сделано по первому разряду и в кратчайший срок, но увидел я контейнеры значительно позже. Держать этих мастодонтов было негде, и по договорённости с Кямалом они ждали на заводе дня, когда нам будет предписано явиться с вещами на таможню для упаковки багажа. Вернее – явиться следовало накануне. Контейнеры полагалось привезти на день раньше, чтобы таможня убедилась, что ни внутри досок, ни в щелях никаких незаконных вложений нет.

И вот в день «Д» мы (я, Женя с парой подруг и Софа с парой друзей) на нескольких машинах, гружёных баулами, чемоданами, ящиками, швейной машинкой и дедушкиным креслом, появились на таможне. Браслет лежал в кармане, и я понятия не имел, как смогу выполнить обещание, данное маме. Тут мы и увидели этих трёх деревянных богатырей. Отшлифованные полуторадюймовые доски, никелированные болты – просто произведение искусства.

Однако удивило и обрадовало другое. Нас встречала команда таможенников в составе офицера и двух солдат, и в офицере я узнал Мурада. Того самого Мурада, с которым мы ухайдокали в ту памятную ночь в аэропорту литр розового самогона. Мурад тоже узнал меня, но, как и я, виду не подал, а попросил выйти с ним в другую комнату. Он закрыл дверь, мы обнялись. Мурад рассказал, что ему удалось аннулировать контракт и вернуться в Баку. Насчёт моих планов он всё понял и так, без объяснений, и спросил, что я хочу вывезти. Я честно сказал про кресло, швейную машинку, браслет, дюжину ложек и небольшую коллекцию старинных медных монет, доставшуюся мне от дедушки. Там ничего ценного, на мой взгляд, не было – ну, может, российский пятак 18-го века. Тем удивительней было, когда Мурад сказал, что пропустит всё, кроме монет. «Насчёт браслета подожди. Я дам знать, когда можно класть», – добавил он. Совершенно счастливый, я не стал возражать, мы вернулись в зал и начали укладывать вещи в контейнеры.

Не буду описывать подробности. На затаривание ушло хороших полдня. Машинка и кресло уже лежали во втором закрытом и запломбированном ящике, когда Мурад объявил перерыв на 15 минут, подмигнул мне и ушёл с обоими солдатами. Тут же в контейнер нырнули ложки и браслет, буквально сами собой.

Когда третий ящик был закрыт и запломбирован, мы с Мурадом снова вышли в отдельную комнату, выпили по паре рюмок коньяка, который я предусмотрительно

захватил с собой, и пожали друг другу руки. От денег Мурад отказался и предупредил, что есть вероятность, что перед погрузкой на корабль контейнеры могут проверить ещё раз, и тогда мы можем оба погореть. По этому поводу мы снова выпили – за удачу. Больше я этого замечательного парня не видел никогда. Спасибо ему огромное. Багаж ушёл, но история на этом не заканчивается.

Обычная по тем временам дорога в Америку через Австрию и Италию заняла примерно полтора месяца, и когда мы прилетели в Нью-Джерси, оказалось, что багаж уже прибыл. Прямо по адресу – в дом моей сестры Наны. Но не весь: третьего ящика с ложками и браслетом не было. Решили немного подождать. Возникло подозрение, что таможня знала, где браслет, и конечно же... Для протокола добавлю, что цена этому браслету – может, тысяча долларов, не больше, то есть не сокровище российской короны, но, как говорится, во-первых, своё, а во-вторых – sentimental value. Мы с сестрой начали активные поиски, а моя дорогая сестричка – человек пробивной. И таки нашли. Вернее, выяснили, что контейнер находится на складе невостребованного багажа в Нью-Йорке. На берегу Гудзона расположены склады (их хорошо видно, когда едешь по Бруклин-Квинс экспресс), и в одном из них должен быть наш ящик. Надо приехать и найти его среди многих других, присланных из Советского Союза. Мы с Наной туда помчались.

А теперь – финал.

То, что мы увидели, никогда в жизни не забуду. До сих пор жалею, что не взял фотоаппарат, ибо описать такое эмоциональное зрелище непрофессиональному художнику непросто. Во всю стометровую длину склада в несколько рядов лежал отправленный эмигрантами багаж. Картонные коробки от холодильников и телевизоров, неумело сколоченные фанерные контейнеры, самодельные деревянные ящики и разное прочее. Некоторые были сильно повреждены, и порой на пол вываливались какие-то брюки, платья, расколотые тарелки, вазы… И таких ящиков – сотни. Все они были повернуты к проходу обратными адресами, и возникало ощущение, что идёшь по еврейскому кладбищу, где на памятниках, кроме фамилии, почему-то ещё и адрес: Михаил Копельмахер – Таганрог, ул. Первомайская, 36, кв. 8; Ида Финкельштейн – Свердловск, просп. Победы, 49, кв. 30 и так далее. У нас даже слёзы появились на глазах, но тут в конце второй аллеи показался наш красавец. Он величественно возвышался над своими собратьями-развалюхами, скромно поблёскивая никелированными болтами.

На следующий день мы вернулись на склад на грузовике, и контейнер воссоединился со своими близнецами у Наны в гараже. Браслет был найден и передан маме, у которой в комнате уже стояли дедушкино кресло и швейная машинка «Кайзер».

Большинство вещей, включая трансформатор 220 на 127 вольт, наволочки и резинки для трусов, так и остались неиспользованными. А вот из контейнерных досок Нана сделала очень симпатичную стенку с полками и поставила в гараже. Всем нравится. Спасибо Кямалу ещё раз.

А начальник столярного цеха Мамедов может быть спокоен – изделием Бакинского радиозавода в Америке довольны.